Самокритический автопортрет

Витторио Страда

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Самокритический автопортрет // Витторио Страда, Россия как судьба - Москва: Три квадрата, 2013, С. 465-525.

-
- Примечания
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- *
- **

Кларе, Ольге и Никите

Жизнь прожить - не поле перейти

Что побуждает писать автобиографию? Почему с годами, с сужением жизненной перспективы, взгляд устремляется к ретроспективе, обращаясь к прошлому, которое возвращается прерывистым потоком воспоминаний? В отсутствие литературной цели, как если бы дело было в написании романа, в котором автор и главный герой совпадают, автобиография вытекает из нравственного требования внести ясность в прошлое, исполненное вопросов, на которые пишущий автобиографию пытается найти ответ для себя и для тех, кому это интересно.

Целью такой автобиографии будет подведение итогов, самоанализ, охватывающий жизнь индивида не в частном ее аспекте, а скорее в контексте коллективной истории. Его можно назвать автопортретом на фоне фрагмента реальности, письменным автопортретом, преимущество которого в том, что он развивается во времени и сопровождается рефлексией: в итоге получится самокритический автопортрет, когда автор будет говорить о себе, как о другом человеке.

Но зачем данному «критическому автопортрету» придавать публичный характер, а не адресовать его немногим близким, буде это их заинтересует? Объяснение более чем просто и прагматично: никаких притязаний на нечто, заслуживающее особого внимания, а только необходимость познакомить некоторых читателей с автором ряда книг, явившихся итогом не совсем обычного жизненного опыта, чтобы читатель мог лучше судить об этих книгах и видеть жизнь автора как фрагмент

определенной эпохи.

Период формирования Веэса (так будем называть нашего героя) пришелся на 30-е и 40-е годы, то есть в основном на период фашизма. Он родился в Милане в 1929 году в ломбардской буржуазной семье среднего достатка и с самого раннего детства хранит воспоминания о деде по матери и бабке по отцу (и тот, и другая были уже вдовые) и обо всем, что их окружало. Дед Антонио Ливраги, самоучка, выходец из простонародья, был изобретателем машинного оборудования, что позволило ему создать крупную обувную фабрику, работавшую по новой прогрессивной системе. Этой фабрике он был обязан своим богатством и возможностью посвятить вторую половину жизни двум областям искусства, по-настоящему ему созвучным: ваянию и коллекционированию. И в том, и в другом он проявил незаурядный талант, создав серию замечательных скульптур и оставив после себя ценную коллекцию картин - от Возрождения до XIX века. Бабушка Бьянка, очень религиозная, более знатного происхождения, была эталоном сдержанного благородства стародавних времен - со своей горничной, остававшейся верной ей до самой смерти, со своими крестьянами фамильного поместья в Брианце[1] , в Мольтено (на пожелтевшей открытке начала века изображен дом, окруженный парком, с подписью «Вилла Страда»); крестьяне проявили свою бесконечную преданность старой «хозяйке», приютив ее у себя в доме вместе с эвакуировавшейся из Милана в годы второй мировой войны семьей Веэса, когда вилла с парком уже перешла в руки местного нувориша (почти как в чеховском «Вишневом саде»). Так получилось, что мальчиком Веэс провел годы в этом тихом месте в маленькой общине, связанной самыми теплыми отношениями.

Говоря о своей семье, Веэс должен упомянуть мать Адриану, до сих пор в свои сто с лишним лет находящуюся в здравом уме и твердой памяти, и с благодарностью вспомнить, как в далеком уже прошлом она, несмотря на все трудности, никогда не переставала верить в него и поддерживала в выборе образования; и отца, Джузеппе, чья спокойная сердечность даже в самых сложных жизненных обстоятельствах остается до сих пор примером, которому не всегда легко следовать.

Отбрасывая целый рой воспоминаний, охватывающих Веэса, когда он воскрешает в памяти этот далекий мир с его обитателями, он должен остановиться на общественном аспекте периода своего детства и юности, отмеченного такими важными явлениями, как поздний фашизм, война и первые послевоенные годы. И хотя его отец, аполитичный по своей сути (что ясно проявилось сразу после войны, когда он стал первым мэром

Мольтено и в короткий срок оказался сметен лавиной партийных распрей, противных его природе), был стихийный антифашист в духе общелиберальных и свободолюбивых идеалов (в противоположность своим братьям - фашистам по призванию), дружил и занимался коммерческой деятельностью с бывшим депутатом от социалистической партии, находившимся под постоянным наблюдением политической полиции, Веэс запомнил тридцатые годы как период счастливый - не только в семье, но и в школе, несмотря на обязательность ношения формы «детей волчицы» и «балилл»[2] . Единственное, что ему очень мешало в жизни в период фашизма, самый смысл которого в ту пору ускользал от него, и чему он упорно сопротивлялся - были обязательные уроки физкультуры и участие в сборах и парадах. При этом он с симпатией вспоминает учителя по физкультуре: тот, хотя и неодобрительно смотрел на несоответствие Веэса атлетическим идеалам эпохи, тем не менее благодушно относился к его отлыниванию, примирившись с тем, что в нем модная в то время максима разложилась на две отдельные составляющие: *здоровый дух* был сам по себе и само по себе - *здоровое тело*. Конечно, *здоровое тело* , пусть и не атлетическое, Веэс поддерживал не без труда, особенно в тяжелые военные годы, когда обычное в то время недоедание привело его к туберкулезу легких. Что же касается *здорового духа* , то здесь Веэс интенсивно упражнялся, пристрастившись к чтению печатного слова в любой его форме. Нельзя сказать, чтобы он не участвовал в играх и даже потасовках, которые затевали его ровесники, но в свободное от игры время трудно было увидеть его без книги в руках. Благословенная пора начала жизни, когда тот, кто пристрастился к чтению еще всеяден и способен переварить классическую детскую литературу (тогдашнюю): от «Сердца» и «Пиноккио» до «Джамбурраски»[3] , и первые романы для юношества: от «Отверженных» до «Оливера Твиста» и «Тома Сойера».

Здесь приходит на память один забавный и показательный эпизод. Перед самым началом войны Веэса отправили в летний лагерь организации фашистской молодежи. Именно «отправили», потому что ехать по собственной воле ему бы и в голову не пришло. Подумала об этом его матушка, обеспокоенная тем, что ее сын оторван от культивировавшего тогда «здорового» образа жизни. Она была убеждена, что подобный опыт прямого контакта с природой вместо обычных каникул в маленькой гостиничке в каком-нибудь живописном месте у моря или в горах пойдет на пользу сыну. И вот Веэс отправился в веселой компании балилл под предводительством других юношей постарше в летний

лагерь. Поначалу необычная обстановка, военизированная жизнь в палатках, еда в походной кухне и маршевые походы заинтересовали Веэса, но очень скоро он почувствовал себя вынутой из воды рыбой. Непереносимая тоска по своей комнате, книгам, друзьям завладела им, и очень скоро он уже не мог больше переносить парады и гимны. Примечательно, что Веэс не взбунтовался, а преспокойно ушел во время утренней линейки, отправился на станцию, где сел на первый миланский поезд. В поезде его задержали как безбилетника, к тому же несовершеннолетнего, и карабинеры препроводили его домой (ему пришлось сообщить свои анкетные данные) к перепуганной, но сразу все понявшей матери. Рассказывая об этом, он считает необходимым подчеркнуть, что не был в ту пору «антифашистом», пусть и безотчетно, потому что тогда и понятия не имел, что значит быть фашистом. Он просто подчинился импульсу, досаде, внутреннему неприятию, как впоследствии часто поступал в других ситуациях, совершая выбор, непонятный для других и ошибочно ими оцениваемый, но всегда отвечающий безошибочной внутренней логике.

Попутно Веэс вспоминает еще один случай из детства, менее значительный, но, тем не менее, на его взгляд, характерный. На одном из пустырей на окраине Милана, где тогда жила его семья (теперь этот район густо застроен домами), он играл с мальчишками. Игры были жесткие, как, например, драки за мальчишеское первенство. Первенствовал обычно один «пролетарий» - сын каменщика, рыжий и весь в веснушках. Однажды этот здоровяк, окруженный группой дружков, победив в очередной схватке, предложил еще кому-нибудь выйти и померяться силой. После небольшой паузы молчаливого ожидания, когда, казалось, что никто не примет вызова,

Веэс сделал шаг вперед и вышел в круг. Вокруг послышались смешки: таким заморышем он выглядел рядом со своим коренастым соперником. Веэс потом пытался понять: что же его толкнуло на этот шаг? Ни в коем случае не дерзость, которой в нем не было, и не самонадеянная претензия на победу, что было бы признаком легкомыслия, нет, это был безрассудный импульс, некий «долг», ему самому не до конца понятный. Всегдашний победитель посмотрел на Веэса с некоторым удивлением (вообще-то он оказался не таким уж свирепым и в дальнейшем вполне доброжелательно относился к Веэсу) и с ошибочной уверенностью, что в два счета расправится с таким слабым и неосмотрительным противником. Но победа стоила ему немалых усилий, потому что Веэс дрался с тем же безрассудством, с каким вышел в круг, пока не остался лежать на траве, в синяках и

ссадинах, между тем как маленький Голиаф и его свита удалились с места этого нелепого поединка.

Из общественной жизни тех лет Веэс помнит участие в грандиозной демонстрации 25 апреля 1945 года в Милане на борту прибывшего из Брианцы грузовика с партизанами и антифашистами. Среди них находился и его отец. Запомнился этот день, значение которого он понимал смутно, - при этом эмоционально переживая, - своей огромной, беспорядочной, ликующей толпой. Но гораздо ярче воспоминания о событиях, происшедших немного ранее, в период Республики Салт[4] : появление в Мольтено дяди фашиста, генерала, из ложно понятых патриотических идеалов перешедшего на сторону Итальянской Социальной Республики. Веэс помнит замешательство и холод при встрече отца с братом (между прочим, человеком недюжинных способностей) - людей, оказавшихся в противоположных станах. Запомнился ему один странный человек, искавший его общества. Это был инженер, появившийся в Мольтено в период эвакуации и скорее всего здесь скрывавшийся: будучи фашистом, он боялся того, что с ним может произойти после неизбежного падения режима (в чем не сомневался). Это была странная «дружба» между встревоженным, запуганным существом, которому не к кому было обращаться со своими монологами, и доброжелательным по природе подростком, заинтересовавшимся человеческим типом, напоминавшим ему некоторых романных героев. И самое светлое воспоминание того времени: дружба с ровесниками, крестьянскими детьми из Мольтено и деревенская жизнь - бедная, какой она неизбежно бывает в военные годы, и богатая такой подлинностью и простотой, каких Веэс потом никогда больше не встретит. И наконец, решающий момент формирования Веэса: в гимназические годы, проведенные в Монце, куда он ездил на поезде, а иногда - не без риска - на велосипеде, он продолжал читать беспорядочно и запойно. Такое свободное и случайное чтение зависело также от ограниченности книжного рынка того времени и от скудости его финансовых средств. Именно тогда он купил дешевенькие книжки издательства Барион, напечатанные на сероватой бумаге, с попадавшимися время от времени похожими на соломинки вкраплениями. Их автором был Достоевский. Посредством этих страниц, в особенности страниц «Братьев Карамазовых», посредством переводов, которые Веэс впоследствии, когда выучил русский, ни разу не захотел сверить, чтобы не нарушить очарования первого восприятия, он вошел в новый, поразительный, бесподобный мир, совсем не похожий на мир других великих романов девятнадцатого века, в основном

французских и английских, в мир, недоступный пониманию подростка, но околдовавший его своей загадочностью и как бы бросавший вызов проникнуть в его глубины и завладеть его тайнами. Нет, он тогда не решил, что посвятит себя изучению русской литературы, такой мысли не могло и возникнуть, но в этом был знак судьбы, брошенное семя, которому было предназначено принести плоды.

После окончания войны по возвращении в Милан Веэсу выпали новые испытания. К семейным финансовым трудностям в условиях суровой послевоенной жизни прибавилась болезнь: легкая форма туберкулеза привела его в туберкулезный санаторий, где он окончательно излечился. Пребывание там оказалось благотворными потому, что позволило ему погрузиться в ранее незнакомый мир. Шли первые послевоенные годы, и пациентами туберкулезных лечебниц были ветераны войны, бывшие военнопленные, а также «штатские» -люди самого разного происхождения, из самых разных областей Италии, все «народная» публика. Для Веэса это стало первой встречей с Италией бедной, простой, плебейской, очень человечной, движимой основными жизненными силами и инстинктами, и при всей своей непохожести на окружающих его людей он совсем не чувствовал себя чужаком в их среде, надолго сдружившись с некоторыми соседями по палате, и сохранил живые воспоминания о многих других.

Возвращение в Милан, возобновление лицея (наверстывать пропущенные годы учебы пришлось в частном), выпускные экзамены. Сочинение по итальянскому языку, в котором Веэс всегда отличался особыми успехами, он написал на одном дыхании, и получилось оно настолько «революционным», что член экзаменационной комиссии, прочитавший его, высказал похвалу и заметил, что не попади оно к нему, «прогрессисту», кто-нибудь другой мог бы такой опус «бойкотировать». Так нежданно-негаданно Веэс оказался «левым»: все вышло как-то само собой - не в результате взвешенного выбора или по предвзятости мнений, а в силу естественной предрасположенности, вполне объяснимой общественной атмосферой послевоенной Италии, а также круга чтения Веэса, который тогда был сам по себе, то есть вне каких-либо группировок, и только время от времени читал *Politecnico*[5] .

«Левая» принадлежность Веэса не основывалась на систематизированных и последовательно усвоенных теориях. Его бессистемное чтение наряду с Карлом Марксом включало и Бенедетто Кроче. А дальнейшее направление его развития определило знакомство с русской революцией. Что такая

революция произошла, Веэс, конечно, знал, но это было сухое школьное знание из учебников, которому он не придавал особенного значения. Но когда Веэс прочитал книгу «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида и некоторые работы Ленина, революция обрела для него новый смысл, оставив у него в голове и в душе неизгладимый след, подобно тому, который оставили в свое время книги Достоевского. Подобный, но не тождественный, потому что, если Достоевский и потом вся остальная русская литература стали для него постоянными спутниками на бесконечном духовном пути, то русская революция ставила вполне определенные исторические и политические проблемы, и проблемы научно-исследовательские, которые рано или поздно должны были неизбежно привести к окончательной ясности. Русская революция (если не принимать ее фидеистически) явилась отправной точкой для попытки понимания двух концептов: России и революции. Две огромные задачи, особенно в Италии того времени, когда представление о России вообще было очень поверхностным, а что касается революции, политико-идеологическая тенденция той поры, мифологизировавшая (задним числом Веэс сказал бы мистифицировавшая) октябрь 1917, преобладала, была «гегемоном» (пользуясь специфическим термином).

Завороженный Россией (Достоевским и революцией), Веэс при первой возможности поступил на философский факультет Миланского университета с целью углубить и систематизировать свои обширные, но беспорядочные знания. Тогда поменялся и круг его друзей и знакомых: он подружился со своими однокурсниками (коммунистами и социалистами), потом сблизился с группой молодых миланских интеллектуалов, основавших небольшой, но очень острый журнал *Ragionamenti* («Размышления»). На редакционных собраниях обсуждались вопросы политики и культуры не в духе «ортодоксии», а в поисках критического социализма, то есть уже «ревизии» «реального» социализма. Именно тогда начались его дружеские отношения с Франко Фортини[6] . Веэс работал библиотекарем в миланском отделении Общества Италия - СССР (когда им заведовала Россана Россанда)[7] и именно тогда благодаря знанию русского языка, которым он тем временем овладел, начал свое сотрудничество с издательством Эйнауди[8] (поначалу очень скромное: чтение иностранных книг для внутренних рецензий). Так постепенно он вошел в круг интеллектуалов, определявших тенденции этого туринского издательства, и в особенности сошелся на базе общих интересов с Франко Вентури[9] . Дружбу с ним, с годами окрепшую, Веэс вспоминает с исключительной теплотой. Ему вспоминаются

беседы с Вентури в его квартире-студии с великолепной библиотекой, часть которой состояла из книг на русском языке. Во время этих бесед этот крупный историк не жалел времени на молодого новичка, воодушевленного неподдельным интересом, что Вентури прекрасно чувствовал, хотя их политические позиции частично не совпадали - Веэс тогда колебался между социалистами и коммунистами, все более склоняясь к последним и видя в первых что-то вроде дополнения к последним. В то время как Вентури, верный духу свободолюбивого европейского Просвещения, блестящим знатоком которого был, принципиально критически относился к коммунизму и Советскому Союзу.

Человеком, сыгравшим решающую роль в жизни Веэса, стал Антонио Банфи[10] . Веэс не считает себя его «учеником» в смысле принадлежности к философской школе, основанной Банфи, - не только потому, что не стал профессиональным философом. Его признательность к Банфи, чьи блестящие лекции он очень прилежно посещал, имеет скорее общекультурные, чем теоретико-философские причины. Банфи, являясь членом руководства Итальянской компартии, был представителем марксизма, свободного от господствовавшего тогда догматизма, и его позиция стимулировала взгляды, идущие вразрез с официальным марксизмом определенного толка. Не случайно группа учившихся у Банфи студентов, в том числе и Веэс (их кумиром тогда был Джон Дьюи, философ американской демократии, чью теорию прагматизма они считали в какой-то степени созвучной «Тезисам о Фейербахе» Маркса), публично выступала против идеологов компартии со статьями, вошедшими в анналы коммунистической культуры того периода. Сегодня эти работы могут показаться «ограниченными», но в них ясно выражалось недовольство (в котором был заложен проявившийся впоследствии громадный потенциал) доктринарным марксизмом, в «национальном», хотя бы грамшианском варианте, повторявшем советский марксизм. (Кстати, при всем уважении Веэса к нравственному авторитету, интеллектуальной мощи и трагической судьбе Антонио Грамши[11] , сам он никогда не был его последователем, в то время как особый интерес вызывал у него другой «западный ленинист» - Дьердь Лукач[12] , политико-философские труды и жизненную судьбу которого он считает проливающими свет на культурную историю коммунизма. У Веэса осталось сильное впечатление от личного знакомства с ним в середине 50-х годов).

В компартию Веэс окончательно привели события, происшедшие в Советском Союзе после смерти Сталина и достигшие кульминации на XX съезде КПСС. Заполняя анкету при своем вступлении в партию в 1956 году, на вопрос, нет ли у

«товарища кандидата» расхождений с ее курсом, он написал, что не разделяет ее культурную политику. Сталинистом Веэс не был, и Жданов стал для него одиозной фигурой (и это уже доказательство его некоторого безотчетного антисталинизма). Но тогда он считал себя ленинистом, хотя самое понятие ленинизма было ему далеко не ясно и само являлось проблемой, а не законченной доктриной. Тем более что из известных ему на тот момент работ Ленина, две - «Материализм и эмпириокритицизм» и статья о партийности литературы и вообще культуры, то есть об их зависимости от курса партии - были для него особенно неприемлемыми. Сегодня все это может показаться странным, признает Веэс, и является показателем некоторой путаницы и неспособности увидеть в ленинизме как таковом (а не только в его философских и культурных проявлениях) матрицу и сталинизма, и ждановщины, и именно здесь отправная точка развития мысли Веэса. Противоречия оказались плодотворными, поскольку открывали путь к поискам, когда отказ от одной части марксизма-ленинизма при опоре на углубленный исторический анализ и собственный жизненный опыт привел к корням системы.

Веэс следил по журналам (в основном по «Новому миру») за советской культурной и особенно литературной жизнью послесталинского, так называемого «оттепельного» периода и с воодушевлением отмечал первые симптомы брожения, предвещавшие отказ от ненавистной ждановщины и обновление не в одной в литературе. Сегодня, да и не только сегодня, эти надежды, несмотря на благородные чувства, их питавшие, кажутся наивными, но Веэс не сожалеет, что разделял эти чувства и что здесь началось его прямое участие в процессе мучительного раскрепощения внутри СССР и странах советской сферы влияния, процессе, приведшем к России постсоветской и посткоммунистической, чего тогда нельзя было и вообразить.

1956 год -для Веэса начало нового периода жизни, новые отношения и новый опыт, когда еще будучи студентом он начал работать в журнале *Contemporaneo* («Современник»). Но прежде ему хотелось остановиться на ключевом эпизоде того года - XX съезде КПСС и «закрытом докладе» Хрущева, взглянув на эти события с двух точек зрения, поскольку разоблачение Хрущевым «культа личности» Сталина им воспринималось в разное время по-разному, равно как и фигура самого Хрущева не оставалась для него неизменной. Вспоминая 1956 год, Веэс упрекает себя за то, что не пришел к «разоблачению» самостоятельно: конечно, он не мог не видеть некоторых негативных аспектов советской системы (чему доказательством служит его резко отрицательное отношение к Жданову), однако не отдавал себе отчета, и по

незнанию советской действительности, в порочности системы как таковой, считая, в духе оттепели, что она в принципе реформируема. Вот почему он с таким энтузиазмом воспринял хрущевские разоблачения, показавшиеся ему тогда диагнозом и началом лечения, тогда как в действительности они были симптомом и паллиативом.

Веэс запомнил этот момент как акт освобождения и начало немалых возможностей, хотя тогда еще не был ясен масштаб перемен, и никто не думал о кризисе, который приведет всю коммунистическую систему к коллапсу, и считалось, что идет процесс реформирования системы путем некоей «демократизации». Конечно, это была ошибка, как вскоре стало ясно, в каком направлении изменяется ситуация, и окончательно подтвердили пражские события. Но ошибка плодотворная: иллюзия демократических реформаторских процессов внутри системы породила другой процесс, подлинно критический, все дальше и дальше выходивший за рамки системы и, в конце концов, приведший к полному ее отрицанию. Иными словами, это была траектория, которая, в плане теории, вела от «критического марксизма» к «критике марксизма», а затем к «постмарксизму», переходящему в адекватный реальности свободный интеллектуальный поиск.

Сейчас, вспоминая те события, Веэс задается вопросом, почему и на него подействовал «закрытый доклад» Хрущева? Ведь были же и другие разоблачения, куда более беспощадные и подробные по сравнению с тем, что получило название «культа личности Сталина» (или сталинизма). Разоблачения всей советской реальности -начиная с октября 1917 года до идей и действий Ленина, Троцкого и так далее - вплоть до критики марксизма. На этот вопрос он отвечает, что тогда был мало знаком с антикоммунистической литературой и антисоветскими свидетельствами (например, на тот момент еще не читал Кравченко[13]). Однако это не вполне состоятельный ответ. Дело в том, что он, как и многие другие, принадлежал к особой «культуре» со свойственной ей ограниченностью и запретами цензурного характера и, хуже, еще более серьезной мифологизацией и мистификацией. И так как она доминировала, к ней относились как к «прогрессивной», способной привести к социальному обновлению, которое было не по силам другим политическим культурам того времени, считавшимся маргинальным. Поэтому-то Веэс, никогда не бывший сталинистом (и не только по причине возраста), так радовался разоблачениям, которые изнутри его политической «культуры» взрывали невыносимо тягостную ситуацию и, казалось, обещали

обновление.

При этом изначальная симпатия Веэса к Хрущеву усиливалась манерой «закрытого доклада», языком, который коммунисты старой закалки сочли недопустимым, по их мнению, совершенно не «марксистским». Для Веэса этот язык звучал убедительно именно благодаря своей непосредственности, подкупавшей конкретностью и фактичностью. Тогда ему, как и большинству, была неизвестна закулисная сторона хрущевских обличений, борьба в кремлевских верхах за этот «поворот». Он не знал, что пресловутый Берия уже начал политику отхода от позднего сталинизма - свидетельство того, что «поворот» - не исключительная заслуга Хрущева и его соратников, что он был исторически вынужден, необходим для выживания советской и вообще коммунистической системы. (И еще не сказано, - добавляет Веэс, - что, преуспей Берия в своей политике, дела сложились бы хуже: с моральной точки зрения в послужном списке Хрущева не меньше преступлений, чем у Берии. И, парадоксальным образом, вполне возможно, что самый что ни на есть бандит Берия, движимый исключительно прагматическими мотивами власти и предполагавший ликвидацию коммунистического режима в Восточной Германии и воссоединение ее на определенных условиях с Западной, мог бы добиться лучших результатов, чем исключительно идеологизированная политика Хрущева - последнего «верующего» коммуниста во главе советского режима).

Веэс помнит первые разочарования в политике Хрущева: незавершенность экономических реформ (подчас граничивших с чудачеством), безумную антирелигиозную кампанию, возврат к худшим атеистическим традициям ленинского периода (и вдобавок отнюдь не маргинальный антисемитизм, камуфлированный под антисионизм). Не говоря уже о выпадах Хрущева против писателей и художников, которые вовсе не были ему враждебны, напротив, поддержали его «поворот», в то время как он - необразованный и самонадеянный, как вся партийная верхушка, - грубо на них набрасывался. В том же духе некоторые хрущевские шаги во внешней политике, шедшие вразрез с заявленной им политикой «мирного сосуществования».

Однако все перевешивал хрущевский антисталинизм, последствия которого, в отличие от своих внутренних противников, позже организовавших его смещение с должности, сам он так и не осознал. Веэс помнит свой «хрущевизм» (критический, разумеется) в годы сотрудничества в журнале *Contemporaneo* , когда начал свою политическую и культурную деятельность. Этот «хрущевизм» тогда соединялся с

«ленинизмом» - ленинизмом мифологизированным, идеализированным, - и все базировалось на антисталинизме как основе критики советской системы, преимущественно в культурной сфере, но с очевидными политическими импликациями. Сегодня Веэс такое странное сочетание Хрущева с Лениным, существовавшее только в его личной интерпретации, считает заблуждением. Но при всей своей абсурдности, она помогла ему найти собственный путь, все более критический по отношению к советской коммунистической реальности, как современной, так и прошлой. В короткое время «хрущевский» компонент исчез, а ленинский сам сделался предметом критического анализа, пока Веэс не пришел к полному его отрицанию. Однако поначалу они послужили стимулом к размышлениям: он и сегодня считает их продуктивными. Веэс не отрекается от пути, которого держался в своих поисках, и не завидует тем, кто шел путями прямыми, но интеллектуально бесплодными. Это банально, но поиск истины дороже, чем обладание готовой истиной, полученной без поиска, он никогда не кончается, и ошибка является его частью.

Веэс помнит, как начиналась его работа с *Contemporaneo* - журналом с новаторской программой, учитывавшей последние веяния в итальянской и европейской культуре, даже с поправкой на ограничения, налагаемые тогдашней политикой компартии. Он знал русский язык, изучение которого явилось неизбежным следствием его интереса и любви к родине Достоевского и революции. Он помнит, как начал: купил русскую грамматику Альфредо Полледро[14] , потом от самообучения перешел к разговорным урокам с Николой Бавастро, человеком, которого он не забыл и по сей день - итальянцем, родившемся и жившим в России до революции, переводчиком русских классиков, в частности Гоголя, и женатым на русской. Отличавшиися необыкновенной живостью характера, он превращал свои уроки в подобие введения в жизнь бывшей царской империи, завораживая слушателя. Образ «традиционной» России, созданный Бавастро, накладывался на возникший в воображении Веэса, и по мере усвоения языка в нем все сильнее укреплялась преданность «русскому мифу». Знание языка и постоянное чтение советских культурно-политических журналов создало Веэсу несколько преувеличенную репутацию знатока если не России, то Советского Союза.

Учась на философском факультете Миланского Университета, как уже говорилось, из многих видных профессоров выбрал себе в «наставники» Антонио Банфи не столько по близости политических убеждений, сколько потому,

что «марксизм» последнего (кавычки здесь служат указанием на свойственную Банфи сложность мысли, не сводимой к какому-нибудь одному аспекту) был открыт всей совокупности проблематики, и Веэс в своих дальнейших исследованиях всегда оставался верен этому принципу. Банфи стал научным руководителем его дипломной работы о советском диалектическом материализме. Это было скрупулезное систематическое изложение в то время малоизвестных текстов (отсюда сохранившийся интерес к этой работе, о чем Веэс, к своему удивлению, еще совсем недавно слышал). Но эта тема была далека от его уже сложившихся к тому времени общекультурных (исторических, литературных, политических, религиозных) интересов, которые впоследствии составили область его работы.

Итак, Веэс, ставший сотрудником *Contemporaneo* , сразу же обратил свое внимание на первые зачатки «оттепели» в СССР. Поэтому его статьи вызвали не только живой интерес, но и критическую реакцию и полемику, особенно со стороны коммунистов консервативного склада. Дело было не только в документированной информации о новых тенденциях в советской культуре, нарушавших устоявшуюся картину этой культуры («соцреализма» и т.д.): новым было отношение писавшего, сочувственно относившегося к этим робким проявлениям «ревизионизма».

По прошествии многих лет, выработав гораздо более зрелый и разносторонний взгляд, Веэс не может не признать своеобразия этой ситуации и интуиции, позволившей ему уловить признаки «поворота», не на уровне политики («закрытый доклад» Хрущева), а в той живой ткани советской жизни, каковую являла собой полностью подконтрольная власти (и ее идеологии и цензуре) литература, где вдруг появились хоть какие-то проблески искренности и правды, иными словами - свободы. В этой связи Веэс не без удовольствия вспоминает, как многие годы спустя главный редактор парижской «Русской мысли», где он печатался, Ирина Иловайская-Альберти, человек незаурядный, сказала ему, что в жизни своей повидала немало русистов и затруднилась бы назвать лучшего, но ей никогда еще не встречался нерусский, который бы, как он, был способен так непосредственно постигнуть и прочувствовать изнутри Россию позднесоветской эпохи. Именно такое прямое, но критическое отождествление с тогдашней Россией вызывало враждебность, а затем и преследования со стороны тех, кто держал Россию в кулаке диктатуры, и дружественную симпатию тех русских и советских людей, кто, живя под ее гнетом, не поддавался ей и оказывал

сопротивление.

В Италии происходило то же самое. Одна из первых статей Веэса в *Contemporaneo* была посвящена самоубийству Александра Фадеева, генерального секретаря Союза писателей. В статье, наскоро написанной на волне известия о смерти Фадеева, при всей ее сжатости, предстали два образа: молодой революционер - автор добротного романа «Разгром», и бюрократ, в которого Фадеев выродился, проводя обслуживающую Сталина губительную политику, что поставило на нем крест как писателе. Мгновенной была реакция в защиту Фадеева «партийного интеллектуала» Валентино Джерратаны[15] , которому Веэс ответил полемически, и Ренато Гуттузо, чей «протест», однако, не опубликовали. Веэс (ставший уже к тому времени объектом идеологических нападок в советских изданиях, со временем усилившихся) даже сегодня не хочет преувеличивать значение этой полемики, хотя она и очень показательна. И менее всего хотел бы выдавать себя за жертву. Если у одних он вызывал подозрение, то у других находил поддержку, например у Антонелло Тромбадори[16] из *Contemporaneo* . С ним, несмотря на немаловажные расхождения, установились отношения доверия, чтобы не сказать дружбы, по мере того как позиции Тромбадори эволюционировали и он избавлялся от предвзятости и иллюзий.

Вообще, если продолжать эту тему, Веэс не испытывал и не испытывает чувства личной обиды на то, что долгое время было «его» партией (за исключением маргинального эпизода, когда сотрудники *Contemporaneo* и *Rinascita*[17] должны были ехать в СССР. Из группы советские исключили Веэса, и его товарищи, зная об этом вето, спокойно отправились в поездку, не проявив солидарности и не испытав неловкости). В некотором смысле руководство компартии было заинтересовано в работе Веэса, который знакомил с новыми веяниями в советской культуре, способствуя лучшему ее пониманию, вне ранее бытовавших схем, и защищало его от нерасположенности «советских товарищей», когда это представлялось возможным. Уже в 1957 году, когда Веэсу предстояло отправиться в Москву для поступления в аспирантуру МГУ, сотрудники ЦК КПСС, курировавшие связи с итальянской компартией, решительно возражали против его кандидатуры, считая, что с ним у них возникнут проблемы, так как он, судя по тому, что пишет в *Contemporaneo* , вступит в контакт с их интеллектуалами, если не «диссидентами» (этого слова тогда не существовало и здесь оно может звучать как анахронизм), то с «оттепельщиками». На что занимавшийся этим вопросом Марио Аликата[18] ответил достопамятными словами: «Веэс светский человек и умеет себя вести». Советской стороне

пришлось уступить. Веэс потом часто удивлялся нюху советских партийных бюрократов, которые с самого начала распознали в нем «чужака» (клеймо «враг» он получил позднее). Ведь и в самом деле он показал себя не слишком «светским человеком» и в своей любимой России вел себя как свободный человек, с присущей ему внутренней свободой, все более крепшей в нем по мере развития критического духа и знакомства с истинным положением вещей.

Поэтому-то у Веэса остались хорошие личные воспоминая об Итальянской компартии (другое дело политическая и историческая оценка, которая не может не быть глубоко критической), и он не видит свое членство в ней как напрасно потраченное время; наоборот, считает этот период - особенно первые годы, проведенные в партии, - хорошей школой жизни, подобно тому, как некоторые учившиеся у иезуитов испытывают к своим наставникам благодарность, даже когда взрослыми становятся атеистами. Дело в том, что Веэс всегда занимал в партии позицию эксцентричную, маргинальную и, можно сказать, привилегированную. Не вынося собраний (как партийных, так и любых других, с их нудной, к тому же бесполезной волокитой), в «партийной жизни» Веэс участвовал в минимальной степени и в студенческие времена при всякой возможности пропускал официальные собрания, зато с радостью участвовал в дружеских дискуссиях на культурно-политические темы. Можно сказать, что для него, искренне разделявшего некоторые принципиальные идеи социальной справедливости коммунистического движения, партия была не политической организацией, которой следовало служить, а скорее жизненным опытом, сферой сознательных поисков внутри определенного исторического контекста. Поэтому, когда этот опыт себя исчерпал, «выход» из компартии оказался для Веэса естественным, лишенным драматизма в отличие от других «отречений». И если трагические венгерские события заставили многих давних членов партии с тяжелым сердцем оставить ее, то для Веэса, не имевшего, впрочем, за плечами опыта такого членства, оказалось достаточным подписаться под коллективным протестом против действий советского правительства. Подлинный кризис вызвали в нем не менее трагические «чехословацкие события», означавшие для него конец, или начало конца, его надеждам на обновление, - которые в свое время привели его в коммунистическую партию, - и принятому на себя моральному долгу внести посильный вклад в дело реформирования, пусть и оказавшегося иллюзорным.

Однако Веэс никогда не строил себе иллюзий относительно трудностей, препятствий и сопротивления, которые с самого начала сулил такой путь, хотя бы потому, что после нескольких

лет, проведенных в Советском Союзе, он лучше других понимал, с кем имеет дело, и голова его была свободна от идеологических предубеждений, свойственных многим его товарищам, не говоря уже о руководстве итальянской компартии и партийных интеллектуалах или, хуже, «попутчиках» или «полезных идиотах»[19] .

Своим поступлением в аспирантуру в Москве Веэс обязан Антонио Банфи, которому еще во время работы над дипломом выразил свое желание после университета продолжить учебу в Москве и провести там несколько месяцев. Банфи, член ЦК Итальянской компартии, отнесся к этому его желанию очень серьезно и вскоре сказал Веэсу, что тот может поехать в Москву, но не на несколько месяцев, а на целых три года и стать аспирантом МГУ. Вне себя от радости и ошеломленный такой возможностью, он нашел полную поддержку у родителей, которые с полным правом могли ожидать от сына, что после окончания университета он «осядет» на месте. Тем временем, в 1957 году, Веэс совершил непредусмотренную поездку в Советский Союз на Международный фестиваль молодежи.

В составе группы своих ровесников, съехавшихся из всех итальянских областей, он в обществе своей сестры Лауры отправился в Москву «туристом». Ехали морем из Марселя в Одессу, потом поездом из Одессы в Москву. На каждой станции поезд встречали рукоплещущие толпы. По всей вероятности это было организовано, но также не исключено, что эти толпы собирались стихийно - ведь такого количества иностранцев, хотя бы и более или менее дружественных советскому режиму, советским гражданам еще не приходилось видеть. Это был их первый дружественный контакт с внешним миром после войны, в момент, когда что-то сдвинулось под сковывающей неподвижностью системы, если не в сознании, то в восприятии и чаяниях людей. Проведенный в Москве месяц прошел под знаком этих ошеломляющих вокзальных встреч по пути из Одессы. Конечно, в атмосфере фестиваля было очень много «советского», идеологизированного и спланированного заранее, но гораздо больше во встречах и разговорах иностранцев с советскими людьми было непосредственности, что особенно верно было в случае Веэса, который наконец-то мог применить на практике свое знание русского языка во время бесчисленных встреч: одни были кратковременными, другие вылились в прочную дружбу.

Именно тогда Веэс сделал свой первый неверный шаг по отношению к советским властям (или второй, после статей в *Contemporaneo*), вернее, первый, явившийся проявлением свободы и неподчинения. В *Contemporaneo* появилась его большая статья о

Борисе Пастернаке, вызвавшая великодушное одобрение самого поэта. Так получилось, что он и другие сотрудники журнала, в том числе Антонелло Тромбадори, были приглашены на обед к Пастернаку к нему на дачу в Переделкине. Для восторженного и смущенного (сверх присущей ему робости) Веэса это был первый русский обед - и в какой компании! - с традиционными тостами и застольными разговорами. Пастернак отнесся к нему с особенным вниманием и при прощании протянул ему пухлую папку с завязками: «Я хочу вам дать почитать мою последнюю автобиографию. Вы потом мне ее вернете», - сказал Пастернак Веэсу при всех, в том числе при Г.Б.* - представителе Союза писателей, фигуре известной, итальянисте, с которым Веэс подружился и лишь гораздо позже узнал, что Г.Б. был сотрудником спецслужб и ему поручили контролировать Веэса во время фестиваля. (Однако Веэс не отказывается от этой дружбы, в отличие от Г.Б., отрекшегося от него, когда Веэс перешел границы допустимого и его критика Советского Союза стала недвусмысленно «антисоветской». Впрочем, это было не единственное отречение от него: когда ему был заказан въезд в Советский Союз, он потерял многих советских друзей, но не всех - некоторые, приезжая в Италию в составе советских делегаций, тайком приходили к нему домой, например Андрей Вознесенский. Но Веэс, хотя и не простил некоторых предательств, с пониманием относился к отступничеству некоторых, зная на какой риск идут советские граждане, поддерживающие «опасные связи»).

Веэс, обрадованный словами Пастернака и оказанным ему доверием, что, возможно, вызвало ревнивую зависть у других, должен признаться, что в горячке последних дней перед отъездом в Италию не смог дочитать до конца полученную рукопись (он наверняка был ее первым читателем-иностранцем), но, конечно, успел почувствовать великолепие и важность этого текста. И вот пришел момент его возвращать. И тут Веэс, считавший себя знатоком советских реалий, впервые продемонстрировал свою наивность: он простодушно обратился к Г.Б. с просьбой сделать фотокопию этого текста, с тем чтобы дочитать его в Италии, разумеется, с разрешения автора. Г.Б. посмотрел на Веэса как на недоумка и сухо ответил, что такой возможности у них нет. На другую просьбу Веэса (которая могла бы показаться наглой, если бы не была столь же наивной) - выделить ему машину от Союза писателей, чтобы отвезти Пастернаку в Переделкино его автобиографию, Г.Б., обезоруженный такой простотой, на просьбу ответил согласием, уточнив при этом, что сам с ним не поедет. В оправдание Веэса необходимо сказать, что он и понятия не имел о

«деле» «Доктора Живаго», которое как раз в тот момент зрело в кулуарах. (Об этом Веэс узнал чуть позже, и самым неожиданным образом). На черном лимузине, на каких возили советских сановников, прекрасным солнечным днем Веэс приехал в Переделкино. Пастернак ждал его на лужайке напротив дома в компании друзей за сияющим самоваром. Для Веэса это были упоительные часы, когда он говорил с Пастернаком о русских поэтах и о некоторых литературных новинках, вернее, слушал его. Когда пришло время уезжать, Пастернак взял его под руку, сказав, что хотел бы поговорить с ним наедине, и увел в свой кабинет. В аскетически простом и оттого еще более чарующе привлекательном кабинете Пастернак сказал, что хочет передать кое-какие распоряжения издателю Фельтринелли. Коротко рассказал о своем романе «Доктор Живаго», подчеркнув, что видит в нем смысл всей своей жизни, что книга не будет опубликована в СССР, как предполагалось сначала, и что хочет, чтобы роман вышел в Италии чего бы это ни стоило. Веэс слушал поэта с чрезвычайным вниманием и в сильном волнении, особенно когда тот сообщил, что недавно его вызывали в Союз писателей и секретарь Союза Алексей Сурков беспардонно поносил роман, вынудив Пастернака послать итальянскому издателю телеграмму, запрещавшую публикацию романа. Теперь же Пастернак просил передать Фельтринелли, что любые запретительные телеграммы или распоряжения такого содержания следует воспринимать как результат давления на автора, желающего, чтобы роман был опубликован любой ценой. Обнявшись на прощанье с Пастернаком, Веэс вернулся в Москву в ошеломлении от того, что ему открылось, и тронутый доверием Пастернака, основывавшимся на единственной статье о нем и кратком знакомстве. Он, разумеется, ни с кем не говорил об этом и по возвращении в Милан немедленно проинформировал Фельтринелли.

Веэс рассказывает об этом не из желания выпятить свою, пусть и не первостепенную, роль в очень непростом «деле Пастернака» -переданное издателю распоряжение наверняка было не единственным и, пожалуй, не решающим для публикации романа. Но для Веэса, для его биографии, этот эпизод, при всем драматизме ситуации, остается памятным и ярким, и имевшим для него отрицательные последствия, потому что последняя встреча с Пастернаком в Переделкине навлекла на Веэса подозрения советских властей в том, что во всей истории с «Доктором Живаго» он соучастник. Все это, вместе с другим издательским скандалом, о чем будет рассказано ниже, значительно осложнило положение Веэса в годы его аспирантуры

в Москве.

И последний маленький эпизод, завершивший суматошное пребывание Веэса в Москве во время фестиваля: за несколько дней до его возвращения в Италию пред ним предстал типичный советский функционер, какие в дальнейшем часто возникали препятствиями у него на пути: «Товарищ Веэс, по распоряжению Центрального комитета вы не должны уезжать: вы получили место в аспирантуре и вам незачем возвращаться в Италию». Эта новость застала Веэса врасплох и он, исключительно из соображений здравого смысла и ни в коем случае из желания скандала, с готовностью ответил, что благодарен, но ему-де надо взять в Италии необходимое для долгого пребывания в Москве, не только одежду («пальто мы вам дадим», - встрял чиновник), но и книги, и попрощаться с родителями, и он сразу вернется сюда. Перед таким непредумышленным неподчинением чиновник пошел на попятную, сказал, что доложит. И Веэс вернулся домой в Милан, чтобы несколькими месяцами позже опять приехать в Москву - между прочим в отменном пальто и с целым сундуком нужных вещей, среди которых было множество «крамольных» книг.

Так начались три года московской, русской, советской жизни, исполненной событий (и невзгод), но в целом настолько необычайной, что от нее остались, несмотря на множество неурядиц, самые теплые воспоминания, которых хватило бы на целую книгу. В своих воспоминаниях Веэс останавливается лишь на некоторых существенных моментах.

Самой яркой и насыщенной стороной тех трех московских лет было его участие в культурной, особенно литературно-художественной жизни города в самый интенсивный период оттепели (1958-1961) благодаря дружбе, сложившейся с «прогрессистами», близкими «Новому миру», что не мешало иметь отношения с официальными организациями - Союзом писателей, например, который в то время тоже не был чужд «оттепели» и роль свирепого стража порядка брал на себя только в крайних случаях, вроде дела Пастернака. В одной из статей в *Contemporaneo* Веэс писал, что напрасно Союз писателей гонит в дверь молодые литературные силы, которые неудержимо вернутся обратно через окно. Секретарь Союза писателей Алексей Сурков - когда-то «пролетарский» поэт, затем соцреалист - человек жесткий, но остроумный - однажды показал Веэсу на окно своего кабинета и сказал со смехом: «Вот окно, через которое вернутся выгнанные в дверь молодые литературные силы».

Это был период эйфории и больших ожиданий, но многие смотрели на вещи реально, без розового оптимизма. Одним из

них был Виктор Некрасов, чью повесть «В родном городе» Веэс «открыл» и перевел для издательства «Эйнауди» еще в 1955 году. Он подружился с Некрасовым, и эта дружба продолжалась во время его парижского изгнания, в пору диссидентства.

Воскресить в памяти мир, в который Веэс, как мало кто из иностранцев, вошел таким естественным образом, не входит в скупые и однолинейные задачи «автопортрета». Но по крайней мере один эпизод Веэс хотел бы привести, потому что именно благодаря ему он понял, к каким внутренним драмам приводило существование в таком режиме, как советский: сия чаша не миновала даже тех, кто принимал его как историческую необходимость.

Борис Слуцкий не входил в число «молодых поэтов» - как Евтушенко и Вознесенский, с которыми Веэс дружил (особенно с первым). Слуцкий воевал, его утверждение как поэта совпало с расцветом поэзии оттепельного периода, и он, будучи человеком зрелым и чуждым своего рода «богемности» молодых писателей, стал для Веэса другом-наставником, помогавшим ему понять существенные аспекты советского мира, например, всесилие Партии и Государства во всех его жизненных механизмах. Слуцкий был коммунистом и с доброжелательным скептицизмом выслушивал наивные заявления Веэса (за которые тому было потом даже стыдно) относительно возможности демократического коммунизма в Италии: «У нас не вышло, может, у вас получится», - сказал он, скорее из вежливости по отношению к Веэсу, чем по убежденности.

Когда после выхода в свет «Доктора Живаго» и присуждения Пастернаку Нобелевской премии, в советской печати по заведенному ритуалу началась травля поэта, и возглавивший компанию Союз писателей устроил собрание-судилище, на котором советские писатели должны были предать Пастернака анафеме. Писателям, верным режиму, это ничего не стоило, поскольку было вопросом рутины, к чему они привыкли за десятилетия сталинской практики. Но для тех советских писателей, которые совсем не были настроены «антисоветски», а просто не входили в категорию холуев власти и верили, что после 1956 года началась какая-то новая жизнь, - для них вызов на это собрание был драмой. Некоторые из них под разными предлогами уклонились от участия в нем и не опозорили себя швырянием грязи в поэта, который к тому же был их кумиром, но Слуцкий был вынужден участвовать в этой вакханалии надругательств и выстрелил по мишени, пусть и с некоторой долей сдержанности. Когда несколько дней спустя Веэс по обыкновению встретился со Слуцким, тот был в жалком

состоянии, как будто стыдился своего поступка перед молодым иностранцем, с которым у него установились отношения полного доверия. Правда, и до этого выступления Слуцкий считал «Доктора Живаго» слабым романом, но речь на том собрании шла совсем не о литературной критике. Движимый искренним порывом, Веэс даже пытался оправдать поступок своего друга, чтобы восстановить равновесие в их отношениях и не бередить его чувства «вины», которую другие коллеги Слуцкого не скоро ему простили. Но эта история глубоко задела Веэса, считавшего личную независимость самым ценным, что только может быть, и поэтому он часто задавался вопросом, а как бы он сам повел себя в сходной ситуации, будь подданным режима, подобного советскому? И отвечал себе: нет, не поддался бы. А вот была ли это настоящая уверенность?

Если участие в культурной жизни оттепельного периода и поездки, совершенные по стране в далеко не обычных для СССР условиях, останутся за пределами воспоминаний Веэса, то в публичную часть войдут три момента, которые определили его отношения с советскими властями, разумеется, партийными. Как уже говорилось, когда Веэс приехал в Москву, чтобы учиться в аспирантуре, он уже был под подозрением властей. Некоторое время спустя, по его вине или, лучше сказать, инициативе, недоброжелательство к нему проявилось самым прямым образом. Дело в том, что 4 июля 1958 года Веэс женился на русской девушке, с которой вместе учился, - Кларе, с которой до сих пор счастливо живет и, чтобы закончить со сведениями о его гражданском состоянии, которая родила ему двоих детей. Подумаешь, скажут, что в этом такого? Только вот за несколько месяцев до заключения законного брака местный дон Родриго[20] объявил, что этому браку никогда не бывать. Сей субъект был Борис Пономарев, ответственный в руководстве КПСС за отношения с итальянской компартией (напомним, кстати, что в качестве главы Международного отдела ЦК он был одним из самых ярых приверженцев советской авантюры в Афганистане, так как считал, что эта страна «готова для социализма»). В те времена смешанные браки с «капиталистами» являлись редкостью, но в данном случае противодействие было связано с идеологией: хотя Веэс и был коммунистом, он имел репутацию «ревизиониста» (сам Веэс считает себя прирожденным «ревизионистом»). Как такой тип смеет жениться на «образцовой» советской студентке? Веэс помнит долгую встречу с Пономаревым, лысым человечком с гитлеровскими усиками и излучавшими презрительное негодование маленькими ледяными глазками, когда он говорил, что Веэса отправили в Москву

учиться, а не за чем другим. Веэс не имел больше удовольствия лицезреть этого индивида, а более благосклонные персонажи, курировавшие итальянских студентов в Московском университете по заданию ИКП и КПСС (тогда все, за исключением Веэса, единственного аспиранта, были студентами), как и политэмигрант Джованни Джерманетто[21] , дали ему понять, что он нарвался на большие неприятности.

Что могли сделать советские власти, чтобы продемонстрировать свое враждебное отношение к этому, уже заключенному браку? Лишить жену Веэса московской прописки (Клара была родом с Дальнего Востока) и сразу после защиты диплома отправить по распределению в одну из среднеазиатских республик, лишив ее возможности остаться в Москве, хотя она ждала ребенка. Началась новая борьба с попытками разрушить семью Веэса. Это было настоящее противоборство с мелкими чиновниками, от которых зависело продление временной московской прописки, - противоборство, давшее на несколько месяцев какие-то результаты, но затем вылившееся в неизбежный финальный отказ. Жене Веэса пришлось перейти на «нелегальное положение», прячась в его комнате в общежитии (хотя для многих это был не секрет), не имея возможности выйти, чтобы не быть разоблаченной и не подвергнуться административной высылке. В полном отчаянии Веэс решил обратиться к Пальмиро Тольятти[22] , когда узнал, что тот приезжает в Москву на какой-то очередной съезд партии. Встреча была назначена при содействии одного итальянца, пользовавшегося доверием у советских, но все-таки от них отличавшегося. Рано утром в назначенный день Веэс стоял у центрального университетского входа на Ленинских горах, как их тогда называли. Его ожидала огромная черная машина, вроде той, что отвозила его к Пастернаку. Изумленный Веэс сел в машину, и она доставила его в специально отведенный для важных кремлевских гостей квартал. Оставив в прихожей пальто, Веэс вошел в большой зал с сидевшими за столом людьми, среди которых находились Тольятти и Пайетта[23] : было время завтрака. После приветствий Тольятти любезно пригласил Веэса к столу и, заметив его смущение, постарался сделать так, чтобы тот чувствовал себя раскованно, и завел разговор о литературоведении, останавливаясь на Мандзони и Толстом. Вскоре все встали из-за стола и Тольятти, выйдя с Веэсом в вестибюль, попросил его рассказать о своем деле. Когда Веэс поведал о своих трудностях, Тольятти спросил его, не считает ли он, что ему стоит вернуться в Италию. В ответ на живейшую реакцию Веэса, намеревавшегося продолжать занятия в аспирантуре, Тольятти с некоторым удивлением произнес: «Так

ты хочешь все-таки остаться в Москве?» и, опять получив утвердительный ответ, пообещал свою поддержку: «Мы сделаем все возможное». Но добавил: «Если ты будешь вынужден вернуться в Италию, извести об этом заранее: мы тебя вызовем, уезжать по собственной инициативе ты не должен».

Прошло дней десять, и Веэсу сообщили, что все улажено и он может получить разрешение на прописку своей жены у ректора МГУ. Веэс бросился в ректорат, где произошла потрясшая его своей неожиданностью сцена, хотя московская жизнь не была скупа на неожиданности. Ректор принял и вежливо выслушал Веэса, но когда дошло до главного, и тот сказал, что очень рад полученному разрешению, ректор невозмутимо ответил, что никаких разрешений нет. От изумления, не успев, как обычно, возмутиться, не подумав о последствиях, повинуясь только внутреннему импульсу, Веэс выпалил: «В таком случае больше я здесь не останусь и уеду в Италию». Ректор в молчании пристально взглянул на Веэса, потом невозмутимо выдвинул ящик стола, вынул из него бумажку, протянул ее Веэсу, встал и молча пожал ему руку: это была вожделенная прописка. Из ректората Веэс вышел ошеломленным и счастливым: хотя бы здесь пронесло.

Но что же произошло? Может быть ректор, следуя указаниям партийного начальства, захотел испытать Веэса и посмотреть, как он поведет себя, когда ему будет окончательно отказано, в надежде «расколоть», как принято говорить у гебешников о тех, кого хотят морально сломить? Или же сами они «раскололись» перед возможностью скандала - поскольку было очевидно, что в Италию Веэс не вернется в покорном молчании, не борясь, и без жены. Он не допускает мысли, что Тольятти не занимался этим вопросом, получив лишь расплывчатые заверения советских, которые в дальнейшем повели себя совершенно «по-советски», в то время как Веэс отреагировал по-своему, вопреки предписанию Тольятти не говорить об отъезде по собственной инициативе. Но только таким образом Веэс добился того, чего не удалось Тольятти.

Не все моменты жизни Веэса в Москве были столь же драматичны, как вышеописанный и последующие, о которых будет рассказано ниже. По большей части жизнь протекала спокойно: занятия, встречи, поездки - все это позволяло Веэсу чувствовать себя совершенно естественно в обычной советской жизни - с неизбежными трудностями, но и теплотой личных дружеских отношений. Из множества курьезных случаев особенно ему запомнился один. Однажды летом 1959 года Веэс получил конверт на свое имя с отпечатанным на машинке адресом

Итальянского посольства. Рядом с именем адресата, видимо, рукой посольского работника было написано: «Кто такой?». В конверте лежало личное приглашение прибывшего с визитом в Москву императора Эфиопии Хайле Селассие на прием в Кремль. Веэс был скорее удивлен, чем польщен, как были удивлены, не без доли завистливой иронии, его товарищи по университету, не удостоившиеся такой чести. Позже Веэс выяснил, что это приглашение, кружными путями достигшее университета, куда его переправили из Итальянского посольства, где его очевидно не знали, отправил эфиопский посол, читатель *Contemporaneo* и статей Веэса. Так Веэс впервые в жизни попал в Кремль, был встречен негусом и его супругой и смог принять участие в роскошном банкете, устроенном в великолепном зале. Скудно питавшийся в университетской столовой, он не преминул воздать должное угощению, не пренебрегая при этом куртуазными беседами с гостями -генералами, дипломатами, политиками, тоже слегка, но приятно удивленными компанией единственного итальянца, такого молодого и такого незнатного.

Не останавливаясь на других мелких и забавных событиях, перейдем к узловому эпизоду, оказавшему влияние, на жизнь Веэса. Эта история связана с «делом Ильенкова». Эвальд Ильенков, молодой и очень талантливый советский философ, стал тогда точкой притяжения и точкой отсчета своего рода «философской оттепели», протекавшей с большим скрипом, чем литературная. Еще перед отъездом в Россию Веэс заключил контракт с издательством Фельтринелли на перевод не изданной в СССР работы Ильенкова о диалектике «Капитала» Маркса. Работа, сложная по содержанию, которую Веэс, благодаря своему специальному философскому образованию, был способен перевести лучше других, тем более что в Москве он мог бы получить консультации непосредственно у автора. Таким образом, Веэс отправился в Москву, имея в своем сундуке машинописную копию ильенковской работы. Однако тем временем разразился скандал вокруг «Доктора Живаго», так что над неизданным текстом Ильенкова нависла серьезная опасность: издательству Фельтринелли эту рукопись дали не для эксклюзивной публикации, а потому, что в Советском Союзе планировалось ее издание, и в Италии должен был быть заранее сделан перевод, чтобы опубликовать его после советского издания книги. То есть все законно, хотя и не вполне для тех времен «ортодоксально», но совершенно противозаконно после «дела Пастернака».

В Москве Веэс завел знакомство с Ильенковым и стал встречаться с ним независимо от перевода, потому что это был

интересный собеседник (его кумирами, кроме Маркса, были Гегель и Вагнер, и, почти лишенный музыкального слуха, Веэс должен был в благоговейном молчании целиком прослушивать вагнеровские оперы) и дома у него собирались критически настроенные интеллектуалы. Все шло замечательно, пока не произошла такая история. На дне рождения Ильенкова во время пирушки, какие так нравились Веэсу у русских, когда он, несмотря на обильные водочные возлияния, был способен поддерживать беседу, Веэс сидел на почетном месте рядом с хозяином, а его соседом оказался человек, по правде сказать, малоприятный. Ильенков представил его как друга и коллегу. И тут-то и произошла катастрофа: в какой-то момент, после долгих застольных разговоров, Веэс обратился лично к Ильенкову (и потому вполголоса) с вопросом о переводе одного неясного ему места в тексте. Ильенков ответил уклончиво и перевел разговор. Это удивило Веэса, потому что Ильенков обычно так себя не вел, как удивило и назойливое внимание, значение которого ускользало от него, его соседа по столу: он весь вывернулся, вслушиваясь в их краткую беседу. Короче говоря, этот субъект являлся редактором книги Ильенкова, то есть ответственным за ее политическое содержание, чем-то вроде цензора издательства. Он, понятно, должен был быть партийным. И доносчиком, как в данном случае, так как, поняв, что книга уже переводится для издания за границей, он вынудил Ильенкова рассказать, в чем дело. Затем он доложил все кому следует, и книгу Ильенкова немедленно вычеркнули из списка готовящихся к публикации. Мало того: скандал достиг невообразимых масштабов и Ильенкова уволили из университета, где он преподавал, что, разумеется, нанесло уже больному философу непоправимый удар. Через несколько лет его книгу все-таки опубликовали в СССР (в то время как Фельтринелли задержал по просьбе Веэса итальянское издание, появившееся только после советского).

Считает ли Веэс себя виновным в этой катастрофе? Может быть, он вел себя с неосторожностью, непростительной для человека, знакомого с мрачными сторонами советской реальности? Разумеется, Веэс бесконечно сожалеет о том, что произошло, но ведь его не предупредили, что за человек был его сосед по столу. И сам Ильенков не считал Веэса ответственным за случившееся. Им пришлось прекратить встречи, потому что они могли осложнить положение философа, за которым установили «наблюдение». «Наблюдение» за Веэсом усилилось, просматривалась и его почта, хотя он вернул машинописную копию, опасаясь, что ее могут изъять, не спросив на это разрешения у Фельтринелли, от которого получил текст

официальным путем.

Еще одна легкая вставка, прежде чем перейти к более обязывающему изложению. В Москве Веэс часто ходил в гости к русским и итальянским друзьям (из последних особенно хорошо он помнит супругов Феррара, Марчеллу и Маурицио, корреспондента газеты *L'Unita* , и их маленького сына Джулиано[24] (тогда еще малой комплекции). И если обеды у итальянских друзей были традиционно итальянскими и приятно разнообразили монотонность еды в студенческой столовой, то в гостях у русских атмосфера менялась не только в кулинарном, но и душевном отношении, а главное, благодаря застольному оживлению, которое вносила водка (надо сказать, что Веэсу она была весьма по душе). Иногда при других крепких напитках, армянском или грузинском коньяке, настроение поддерживалось и без пиршественного стола. Однажды Веэс получил в подарок бутылку виски, напитка для Москвы того времени экзотического. Он взял эту бутылку с собой, когда пошел в гости к Евгению Винокурову - собеседнику на литературные темы. Виски они распили на двоих, стаканами, как вино, а потом добавили бутылку национального русского напитка. Это был приятный вечер, зато в другой раз все закончилось «по-русски». Однажды, после долгого застолья, с богатой выпивкой, у Веэса состоялась встреча с одним неофициальным художником. На встречу пришел Давид Маркиш (теперь живущий в Израиле), захватив с собой не только отличный коньяк, но и великолепный старинный, остро отточенный грузинский кинжал в подарок Веэсу. Выйдя на улицу (теперь это опять Поварская), он побрел неверными после предательского коньяка шагами к ближайшему метро, чтобы поехать домой. Была зима, на улицах лежал снег. В какой-то момент Веэс оказался сидящим на тротуаре, прислонившись к стене дома, вроде пьяниц, не раз попадавшихся ему на улицах. Сколько времени он провел так - неизвестно. Он помнит только, что какой-то прохожий помог ему подняться, ну а раз Веэс держался на ногах, пошел своей дорогой. Веэс вернулся в общежитие, жена раздела его и уложила в постель. Самое же поразительное в этой истории, что все это время у него во внутреннем кармане пальто лежал кинжал. Задержи его милиционер в таком виде на тротуаре с холодным оружием в кармане, трудно даже представить возможные последствия. Из этого инцидента Веэс извлек урок трезвости и осмотрительности.

Эпизод, завершающий казусы, приключившиеся с Веэсом в Москве во время трехлетней аспирантуры (но повторявшиеся вплоть до конца советского режима), относится непосредственно к работе над диссертацией. Выбранная им диссертационная тема

была очень интересной, но в условиях СССР весьма деликатной: советские литературные теории 1920-х годов, оказавшиеся под запретом после того, как утвердился соцреализм, продолжались оставаться запретными и при «оттепели». В особенности это касалось так называемого формализма - школы формального анализа литературных текстов, основателями которого были Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум, Юрий Тынянов, Виктор Жирмунский, Роман Якобсон (с последним Веэс в 60-е годы познакомился лично в Италии и имел удовольствие предложить ему написать о евразийстве для издательства Эйнауди). Веэс познакомился со Шкловским и нередко с ним встречался, познакомился также и с Жирмунским - двумя последними остававшимися в живых представителями этого литературного течения. Но и вне зависимости от личного общения Веэса подкупала свежесть и богатство идей «формальной школы» 20-х годов, тем более на свинцово-сером фоне тогдашних советских литературных теорий. Он не принимал тезиса, что в свое время идеи «формалистов» были опровергнуты «марксистскими» и, заново открыв для себя эти идеи, тогда еще малоизвестные и официально непризнанные, легкомысленно и безоглядно встал на их защиту, тем более что кафедрой истории советской литературы заведовал Алексей Метченко, влиятельный (в СССР) проводник самого официального марксизма-ленинизма в теории литературы и автор «правоверной» монографии о Маяковском, которого, по официальному шаблону советского литературоведения, он считал, наряду с Горьким, родоначальником соцреализма.

Напротив, Веэс воспринимал этого поэта в совсем ином свете, возводя истоки всего его творчества к футуризму, хотя «его» Маяковский оставался еще под сильным воздействием революционного мифа. В одной своей статье, напечатанной, конечно, в Италии, он противопоставлял «такого» Маяковского «отцу» соцреализма Горькому. Этим, между прочим, Веэс обязан неожиданному знакомству с Лилей Брик, которая пригласила его в гости и похвалила его «еретическую» интерпретацию Маяковского. Особенно памятны Веэсу частые встречи с представителем самого настоящего русского кубофутуризма Алексеем Крученых, живой энциклопедией «авангарда», одним из самых эксцентричных, даже в старости, персонажей. Он жил коммуналке, в каморке, битком набитой ценнейшими текстами: первыми изданиями футуристических сборников, манифестами, рукописями и книгами с посвящениями от поэтов двадцатых годов (для Веэса знакомство с Крученых, как и с Николаем Харджиевым, бывшим секретарем Малевича, самым крупным

знатоком русского авангарда, означало непосредственный контакт с тем, что осталось от той великой эпохи, и стало также источником пополнения его собрания текстов и рукописей того периода). Как мог Веэс хотя бы поэтому относиться всерьез к метченковской «марксистско-ленинской» интерпретации Маяковского? А самый, что называется, скандал был в том, что Веэс, считая себя тогда неортодоксальным «ленинистом», не принимал ленинскую теорию «партийности» литературы - краеугольного камня всей так называемой марксистско-ленинской эстетики. Поэтому нетрудно представить, с каким количеством проблем ему пришлось столкнуться при работе над диссертацией. Говорить о «ревизионизме» было бы недостаточно, а бедному Метченко, наверно, впервые в его карьере человека власти попался крепкий орешек. Силы были неравны: Метченко обладал властью, которая обеспечивалась не только его положением академического «барона», но и возложенной на него партией ролью стража идейной чистоты. Но Веэс был иностранцем, к тому же под защитой «братской партии», и поэтому достопочтенный профессор не мог обращаться с ним как с каким-нибудь там аспирантом - подданным режима, то есть попросту перекрыть ему все пути, кроме «самокритики» и капитуляции. История этого поединка тянулась долго и теперь, спустя многие годы, кажется даже забавной. Закончилась же она сценой, когда Веэс, выйдя из себя, чего с ним почти никогда не бывает, высказал Метченко и его коллегам все, что о них думал. Когда после этого он вернулся в свою комнату в общежитии, его жена была поражена все еще кипевшей в нем яростью, которая выявила ей незнакомую сторону характера ее супруга.

У этой истории был и откровенно комический поворот: до ее финальной фазы, когда Веэс с некоторой долей наивности еще пытался найти какой-то выход, он послал в Рим, в руководство компартии часть своей диссертации с просьбой провести экспертизу: действительно ли написанное им такое антимарксистское? Официальный ответ из Рима сводился к тому, что там не видят в его работе ничего криминального, но все же лучше не обострять ситуации и найти компромисс, мол, впервые диссертация иностранца бойкотировалась по «идейным» соображениям. И компромисс (возможно, с подачи итальянской стороны) Веэсу был предложен: если выбранная им тема слишком «трудная» и «рискованная», то почему бы не поменять ее на более «безопасную»? Новая тема гласила: переводы стихов Маяковского на итальянский.

Веэс, в котором злость уже перекипела, поблагодарил, как и подобает «светскому человеку», какого в нем видел Марио

Аликата, но вежливо отклонил этот «компромисс», заявив, что поскольку срок аспирантуры подходит к концу, ему уже пора возвращаться в Италию, а не браться за новую тему под руководством профессора Метченко. Тем более что жена Веэса уже уехала в Милан, к его родителям, чтобы избежать осложнений при родах, потому что уже однажды в советских, не идеальных условиях они привели в прошлом к потере их первого ребенка.

Расставание всегда тяжело, особенно если ты любишь тот мир, в котором прошла часть твоей жизни, а Веэс любил свой русский, советский, московский микромир, который состоял как из друзей, так и из врагов. Но и в заключительный момент этого периода с Веэсом приключилась очередная история.

Любовь Веэса к книгам была почти патологической, и за три проведенных в Москве года из купленных у букинистов (иногда ценой буквального отказа от хлеба) и подаренных друзьями книг у него составилась отличная библиотека. Таможенный досмотр на советской границе он с трудом, но благополучно прошел, пересел в Варшаве на другой поезд и, заплатив последние деньги носильщикам, спокойно собирался спать в своем вагоне. Когда прозвучал свисток отправления, Веэс бросил последний взгляд из окна и, не веря своим глазам, увидел на платформе все свои чемоданы с книгами. Он провел ночь в самой мучительной за всю жизнь бессоннице: остановить поезд, как он сначала попытался, оказалось невозможно. Единственным решением, точнее, единственной надеждой было не пересекать польскую границу и попытаться получить свои вещи, не выясняя, кто виноват в случившемся. И вот, на польской пограничной станции, в предрассветный час Веэс сошел с поезда, готовый ко всему. Денег у него не оставалось никаких - ни западных, ни восточных. От беды его спас проявивший милосердие (в высшем смысле этого слова) польский железнодорожник, увидевший его озябшим, растерянным и в страшном беспокойстве; милосердие это обернулось симпатией, когда он узнал, что Веэс итальянец. Симпатия обратилась в протекцию, когда Веэс сказал, что остался без денег: поляк привел его к себе домой, поместил в своей комнате, предоставив собственную постель, и пообещал, что найдет багаж. И чудо произошло: немногим больше чем через сутки все добро Веэса прибыло на станцию. Счастливый и вместе растроганный, Веэс обнял железнодорожника и, стыдясь, протянул ему то немногое, что у него нашлось (бритвенный прибор, «вечную» ручку), и польский друг, явно не желая обидеть итальянца отказом, принял эти вещи. Этот железнодорожник был католиком, с трудом подбирая слова, он рассказал, что мечтает

хоть одним глазком взглянуть на Папу, побывать в Риме. Веэс, воспитанный в католической вере и христианин по убеждению, но далекий от соблюдения церковных норм, потом много раз спрашивал себя, был бы ли сам способен на такую щедрость по отношению к незнакомому человеку. Несомненно, он и в России встречал добрых, искренних людей и бескорыстную помощь, но в этом случае было что-то другое, и Веэсу пришлось признаться самому себе, что этот поляк - такой искренний и открытый - лучше, чем он.

После возвращения в Италию для Веэса начался новый период жизни, который можно было бы назвать «туринским» или «эйнаудиевским». Как уже говорилось, еще до московской аспирантуры он работал для туринского издательства: это было что-то вроде синекуры в его миланском филиале, но даже во время поездок в Турин он еще не был лично знаком с Джулио Эйнауди (если не считать какого-то официального случая, когда их представили друг другу), но встречался с Ренато Сольми, Итало Кальвино и другими редакторами. Личное знакомство с Эйнауди произошло во время его приезда в Москву в 1960 году (позднее Веэс организует для Эйнауди встречу-интервью с Никитой Хрущевым и приедет с ним в Москву. Эта поездка была полна всяких неожиданностей и памятна беседой в Кремле с главой Советского Союза. По этому случаю Эйнауди привез Хрущеву гигантский трюфель из Пьемонта). В том же году издатель предложил Веэсу, по возвращении в Италию, работать у него в издательстве в качестве консультанта по русской литературе. В Милане Веэс недолго задержался в родительском доме, где жила жена с недавно родившейся дочерью. Его жена Клара, тогда еще «советский» человек, с трудом входившая в итальянскую жизнь, с благодарностью вспоминает, с какой сердечностью поддерживали ее до возвращения Веэса Франко Фортини и его жена Рут. Наступил момент переезда в Турин, где его ждала постоянная зарплата в издательстве, что по тем временам было немаловажно, а также удовольствие работать в такой интеллектуальной среде. Материальные трудности, разумеется, чувствовались, но не умаляли счастья молодости. Веэс даже не задумывался о том, чтобы лучше устроиться - характерная его черта в те годы - и принципиально отвергал возможность работы в университете, считая, что любая попытка что-либо предпринять в этом направлении ущемит его независимость. Впоследствии он избавился от этого абсурдного предубеждения.

С благодарностью вспоминает Веэс период работы в издательстве Эйнауди, особенно начальный - до 1968 года.

Помнит туринскую жизнь, связанную с издательством и местными интеллектуалами -коммунистами и социалистами, атмосферу поисков - сегодня они выглядят не иначе как бесплодные потуги - некоей, так сказать, «иной» «левой», появление которой зависело в большей степени от изменений внутри СССР и менее всего являлось результатом самостоятельной выработки оригинальных идей. Отсюда интерес к советской реальности - официальной, показной, и подлинной, потаенной, подпольной (а значит, и к литературе как симптому и стимулу новых брожений в стране, где любое другое явление в области культуры еще более жестко контролировалось). Медленно выдыхавшаяся эйфория от XX съезда окончательно угасла в момент советского вторжения в Прагу. Веэс помнит, как в перерыве между заседаниями во время летних сессий издательства в Реме, прогуливаясь, Паоло Сприано и Джорджо Манганелли[25] беседовали с ним о возможном вторжении. Манганелли, реалистически смотревший на вещи, говорил, что никогда еще советские не выпускали из рук захваченного; Сприано допускал, что вторжения не будет; Веэс был почти уверен в неизбежности вторжения, но с некоторой долей остаточной надежды утверждал, что движения обновления не остановить: подавленное в одном месте, оно возникнет в другом. Для Веэса военное вторжение в Прагу ознаменовало конец советской внутренней эволюции на уровне власти (другое дело общество, которое в Советском Союзе было понятием абстрактным, хотя отдельные культурные силы уже не могли быть полностью подавлены). Порожденным оттепелью ожиданиям пришел конец, но у Веэса оставалась последняя надежда - зыбкая с точки зрения сегодняшнего дня - на внутреннюю эволюцию итальянской компартии, пусть замедленную и болезненную, в сторону ревизии своего исторического (сталинского) прошлого и преодоления акритического отношения к Советскому Союзу. Но когда и эта надежда умерла, то он не видел больше никакого смысла оставаться в партии: и так его пребывание в ней уже давно вышло за рамки разумного.

В воспоминаниях Веэса нет четкого порядка, и здесь он затронул то, о чем подробно будет рассказано ниже. Возвращаясь к туринским годам и личной жизни, которую, впрочем, трудно отделить от «общественной», он вспоминает летний отдых на море в Бокка ди Магра и в горах в Конье[26] . Упорно возникает в памяти самая что ни на есть «личная» история, приключившаяся с ним в Бокка ди Магра. Здесь жили Фортини, Эйнауди и другие со своими семьями. Однажды на взятой напрокат лодке Веэс отправился вместе с семьей и приятелем на дальний пляж, где

уже были Фортини и остальные, приехавшие туда на машине. Во второй половине дня погода стала портиться, однако, не вняв уговорам друзей, Веэс решил возвращаться назад на лодке, чтобы сдать прокатчику, но при виде грозного неба оставил своих с Фортини. На лодке с ним поехал его приятель Эцио Ф., с которым они учились в Москве. Эцио, несмотря на слухи (возможно не имевшие под собой основания) о его каких-то темных «политических» связях, всегда был Веэсу очень симпатичен (у него была своя критическая позиция в отношении коммунистической ортодоксии). На полдороге к цели небо заволокла тьма, разрываемая молниями, и под яростными порывами ветра разразился страшный шторм. Веэс сидел на веслах несчастной посудины, которую взмывало на гребни валов, чтобы потом обрушить в ревущую бездну. Эцио, прекрасный пловец, бросился в море и кричал Веэсу из водной пучины, чтобы тот ради спасения тоже прыгал в воду. Но Веэс не умел и не умеет плавать - разве что в нескольких метрах от берега в спокойной воде. И он в состоянии какого-то трезвого помешательства продолжал грести, чаще загребая воздух, чем воду и носился вверх и вниз по этим жутким американским горкам. В тот момент Веэс не молился, но кто-то сделал это за него: постепенно этому аду пришел конец, Эцио, тоже в шоке, вернулся в лодку, и они вдвоем достигли пляжа. Фортини с невозмутимым участием признался: «А мы уж думали тебе конец».

Продолжая тему летних отпусков, Веэс вспоминает Конье, где он встречался с незабываемыми, милыми его сердцу Серджо Сольми[27] и его сыном Ренато. С Сольми-отцом Веэс уже был хорошо знаком по Москве, в период аспирантуры, когда этот блестящий поэт и тонкий литератор приезжал в Москву в составе делегации итальянских поэтов и писателей (в делегацию входил и Сальваторе Квазимодо[28] , но случившийся с ним в дороге инфаркт уложил его в Москве на больничную койку). К делегации присоединили и Веэс, не в качестве поэта, а литератора, и он вместе с Сольми и другими совершил необыкновенную поездку на Украину и в Грузию, необыкновенную по разнообразию полученных впечатлений и по восторженности встреч, которые, конечно, были официально организованными, но отличались непосредственностью и естественностью. Незабываем сказочный, ренессансного великолепия банкет, устроенный в Тбилиси Союзом писателей Грузии, длившийся всю ночь до рассвета, когда за обессилевшими от бесконечных тостов итальянскими поэтами, уже сидевшими в направлявшихся в аэропорт машинах, бросились самые стойкие грузинские поэты, чтобы выпить на посошок.

Общение с Ренато, младшим Сольми, человеком острого ума и блестящей культуры, как с ровесником, было более непринужденным. (А также потому, что он «опекал» Веэса на его первых шагах в издательстве Эйнауди, где играл ведущую роль, пока по идеологическим расхождениям не был вынужден уйти из издательства). Веэс вспоминает об этом в связи с разительным в «общественном» смысле эпизодом. Однажды в Конье на берегу горного потока они с Сольми разговаривали о китайских событиях. У Сольми они вызывали живой интерес, тогда как реакция Веэса на китайскую «культурную революцию» была инстинктивно негативной, потому что он видел в ней новую, отличную от советской форму «сталинизма» и «ждановщины». Сольми резонно заметил, что следовало бы, прежде чем выносить решительные суждения, подождать развития событий. Но Веэс выразил свое принципиальное неприятие деспотического насилия подчиняющихся указке сверху масс, квалифицировав его как «антикультурную контрреволюцию». Это был показательный эпизод, потому что позднее именно маоистская «культурная революция» неожиданным образом сказалась на частной и общественной биографии Веэса.

Городок Конье был местом других «исторических» встреч (если позволительно пользоваться этим словом применительно к мелким фактам): встреч Веэса и его половины с Пальмиро Тольятти и его женой Нильде Йотти. Эти встречи стали возможны потому, что Веэс с семьей жил в гостинице «Бельвю», в ресторане которой ежедневно питался Тольятти, живший неподалеку в снятом на лето домике. После знакомства в Москве и сотрудничества в коммунистической печати, включая журнал *Rinascita* , было вполне естественно, что встречи не носили чисто формального характера. Попутно в скобках Веэс хочет отметить, что когда-то Тольятти отказался публиковать статью Веэса, посвященную воспоминаниям Ильи Эренбурга, которую он вернул секретарю редакции вместе с язвительной и остроумной запиской, написанной от руки: «Страда должен понять, что это не гибель богов». Дело в том, что в своей статье Веэс вольно или невольно сгустил краски, наталкивая на мысль о «закате» старой советской идеологии, что на самом деле было далеко от действительности. И если на тот момент Тольятти мог оказаться правым, то в перспективе большого времени более правым оказывался Веэс: закат богов, в том числе и для самого Тольятти, действительно начался. Тольятти тогда выразил желание увидеться с Веэсом, когда тот будет в Риме. Встреча состоялась осенью 1963 года в здании руководства компартии. После окончания какого-то собрания Веэса впустили в большой зал, из

которого толпой выходила участвовавшая на нем публика: на противоположном конце длинного стола сидел Тольятти. Темой встречи была не допущенная до публикации статья об Эренбурге. В статье Веэс отстаивал, между прочим, небесспорный тезис, сводившийся к тому, что меньшего порицания достоин Эренбург, который, зная об истинном положении дел в сталинской системе, тем не менее сотрудничал с ней во имя борьбы с фашизмом, чем те, кто, будучи неспособны понять реальность, позволили использовать себя в качестве «полезных идиотов». Тольятти, по всей вероятности, почувствовавший в этом если не намек, то нечто, касавшееся его лично, сказал Веэсу, что тот неправильно ставит вопрос: «мы ничего не знали» - его буквальные слова, он повторил их дважды (имея в виду самые чудовищные аспекты сталинизма). Эти слова глубоко разочаровали Веэса, конечно, не ожидавшего от Тольятти никаких признаний, но не готового к такому невероятному заявлению. (Встреча, видимо, была организована, чтобы «оправдаться», вернее, объяснить, почему Тольятти отказался публиковать статью).

Вернемся к другой встрече - той, что состоялась в Конье в 1963 году раньше римской. Тольятти пригласил Веэса с женой к себе в гости. Как «светский человек», он не стал разубеждать Тольятти относительно его роли, - как тот думал, решающей, - с московской пропиской (хотя, пожалуй, помощь Тольятти действительно решила дело) и не стал рассказывать о своей сюрреалистической встрече с ректором МГУ. Тольятти очень удивился, узнав (скрыть этот факт было невозможно), что Веэс отказался от предложенного ему компромисса и не стал писать диссертацию на тему переводов Маяковского на итальянский. Беседа, проходившая в кабинете, уставленном книгами, могла бы мирно продолжаться, если бы маленькая очаровательная дочурка Веэса Ольга не принялась ворошить журналы секретаря итальянской компартии, расположенные в строжайшем порядке, что вызвало его беспокойство, вполне понятное страстному книголюбу Веэсу. Тут Клара, отвлекшая дочку от журналов хозяина и не спускавшая с нее глаз, допустила оплошность. Она сказала, что (в ходе своего постсоветского перевоспитания) прочитала замечательную книгу Виктора Сержа[29] «Записки революционера», в которой рассказано, и намного лучше, о том, что впоследствии «разоблачил» Хрущев. Клара говорит, что в глазах Тольятти сначала мелькнула холодная молния, но потом он понял, что перед ним не провокатор, а бывший советский человек, наивный и без задних мыслей (в это время Веэс под скатертью стола дал пинка супруге, чтобы она не настаивала на этой теме). Тольятти переменил разговор и заговорил почему-то о

зяте Хрущева Аджубее, который сделал карьеру журналиста и дипломата (имеется в виду его официальный визит в Ватикан к Папе), и назвал его бахвалом. О Хрущеве он тоже высказался без особой симпатии, хотя и не так жестко.

Наверно, читателю интереснее не личные воспоминания Веэса, а его свидетельство об издательстве Эйнауди, где он работал. Но здесь потребуется скорее не свидетельство, а историко-критический анализ деятельности издательства в определенный период итальянской и мировой жизни, что выходит за рамки «автопортрета», особенно потому, что Веэс и в этом не собирается приписывать себе роль более важную, чем та, какую он на самом деле играл в издательстве. Свидетельством его работы является каталог издательства, в котором фигурируют многочисленные книги, выбранные Веэсом и выпущенные под его редакцией. Так сказать, идеологическое ядро редакции было представлено теми, кого постепенно подобрал сам Эйнауди, но последнее слово в определении общеиздательской линии оставалось за ним. Какое-то время работавший в издательстве Веэс, формулируя для себя мнение о его деятельности и признавая обоснованность некоторых обвинений в зависимости многих издательских решений от политической культуры «левого», преимущественно коммунистического толка, считает, что, тем не менее, при таком раскладе сил внутри редакции, широта и серьезность основного издательского портфеля значительно перекрывала свойственную этой культуре ограниченность. В этом смысле публикации Эйнауди открыли путь к преодолению этих самых недостатков, и когда панорама итальянской политики и культуры обновилась и в издательской почти монополии («гегемонии») образовалась брешь, издательство Эйнауди, пусть и медленно и с определенными умолчаниями, обрело свое место в яркой панораме долгожданного плюрализма. Сказать, что Джулио Эйнауди был великим издателем итальянского и международного масштаба, значит утверждать очевидное. Веэс навсегда запомнил удивительную способность Эйнауди чувствовать книгу в повседневной работе, его интуицию и готовность принять, казалось бы, рискованные, однако культурно оправданные предложения, и память Веэса благодарно хранит его неповторимый образ.

Среди многочисленных авторов, предложенных Веэсом для публикации во время его работы в издательстве, можно назвать тогда мало известного Михаила Булгакова[30] , и открытого им Михаила Бахтина[31] . С ним ему посчастливилось познакомиться (к сожалению, на расстоянии, потому что Саранск, где жил

Бахтин, был закрытым для иностранцев городом). Тот же Веэс познакомил итальянцев с Юрием Лотманом[32] , с которым у него были тесные отношения сотрудничества. Веэс не считает нужным говорить здесь о своих критических работах (книгах «Традиция и революция в русской литературе», «Мифы и фигуры русской литературы от Достоевского до Пастернака», семитомной «Истории русской литературы», журнале «Россия/Russia» и об исследованиях по истории русской политической мысли от Герцена до Ленина, от Троцкого до Мартова, от Трубецкого до Сахарова). Но нельзя не упомянуть одного имени - имени Александра Солженицына, сыгравшего огромную роль и в его биографии. С момента прочтения его знаменитой повести «Один день Ивана Денисовича» Веэс нашел в Солженицыне[33] решающий ориентир. Он многим обязан его последующим книгам, особенно «Архипелагу Гулаг» и очень сожалеет, что не смог работать над его итальянским изданием, потому что права на него получил другой издатель. Не только проза Солженицына («Раковый корпус» вышел в издательстве Эйнауди с предисловием Веэса), но и его публицистика (не говоря уже о потрясшем «Архипелаге») стимулировали Веэса в его все более углубленной критике советского режима и его идеологии. История его личных отношений, сначала косвенных, потом прямых, с Солженицыным, с самого начала высоко оценившим рецензию Веэса на «Один день Ивана Денисовича», не входит в цикл этих воспоминаний. Но с Солженицыным связана история, повлекшая за собой резкий поворот в жизни Веэса, и вместе с еще одним аналогичным по значению фактом проводит грань между «туринским» и «венецианским» периодами его жизни.

1968 год стал для Веэса, как и для всех, годом особенным, даже решающим, но повлиял на его жизнь аномальным образом. К западному, в том числе итальянскому протестному движению «68-го» Веэс отнесся без всякого энтузиазма, в то время как максимально поддерживал параллельное (отличное по своему характеру) на «востоке», в странах зоны советского влияния. Не то чтобы ему нравилась застойная атмосфера Италии до 68-го, но «бунтари» отнюдь не внесли в нее чистой и свежей струи. Выше уже говорилось об инстинктивной реакции Веэса на маоистскую «культурную революцию», и она не только усилилась при виде того, с каким энтузиазмом ее встретили новые «левые», а лучше сказать леваки. Если китайский маоизм был серьезным, трагически серьезным явлением и требовал анализа в его конкретной реальности, то его имитация в италийском и вообще западном ключе была для Веэса невыносима не столько с политической, сколько с интеллектуальной точки зрения. Новая

атмосфера стала удушливой, главным образом когда ее струи стали просачиваться на место его работы - издательство Эйнауди. Один его почтенный коллега, бывший (не совсем) сталинист, в ответ на ироническое замечание Веэса о его пристрастии к «красной книжке»[34] изрек: «Неужели ты не понимаешь, что это как святое причастие для верующих?» Конечно, Джулио Эйнауди не опустился, и не мог опуститься, до такого уровня глупости. Будучи человеком умным, с широкими интересами, он, может быть, поддавшись, как и многие, царившему в ту пору духу, старался не отстать от молодежи и повернулся лицом к новым оппозиционным силам, но не с целью критического пересмотра консервативных позиций, а пассивного принятия новой идеи, которая должна была упрочить старую. Веэс в своей работе все более выходил за рамки официального антисталинизма и ориентировался на «ревизионистскую» политико-интеллектуальную эволюцию внутри советского мира. В этой связи можно напомнить, что при посещениях Праги он разделял позицию своих друзей (коммунистов и демократов), поддерживавших Дубчека, но критически относившихся к его идеологической наивности. В издательстве он все больше ощущал себя не на своем месте, как, впрочем, и другие коллеги, куда более авторитетные, в первую очередь Франко Вентури, с которым Веэса связывала давняя симпатия и дружба. Демонстрировал свое недовольство и Норберто Боббио[35] . Джулио Эйнауди успокаивал Веэса («увидишь, пройдет и это»), но, в конце концов, и Веэс, и Франко Вентури ушли из издательства совершенно независимо друг от друга («беспрецедентно!» прокомментировал Джулио Боллати, второй человек в издательстве).

Для Веэса уход из издательства означал потерю работы со всеми сопутствующими проблемами, каких не было у его друга Вентури, тем более что в семье Веэса появился еще один ребенок (сын Никита). Контракт, который Веэс заключил с Эйнауди уже в качестве внештатного сотрудника на перевод «Что делать?» Ленина и дискуссии вокруг этой книги и на вступительный очерк, являлся каплей в море и никак не мог решить семейных финансовых проблем. Некоторое время ситуацию спасала Клара, делая технические переводы - изнурительное, унылое занятие - для Фиата и других туринских фирм, которые работали с Советским Союзом. Но это не было решением, и Веэс пошел на шаг, возможность которого раньше принципиально исключал: он принял участие в конкурсе на место заведующего кафедрой русского языка и литературы в Венецианском университете и неожиданно этот конкурс выиграл. И тут он сделал для себя

открытие, что именно университет обеспечивает ему независимость, которую, как он думал раньше, можно обрести лишь вне его стен (правда, эта независимость проистекала из того, что он стал заведовать кафедрой сразу, избежав долгого порядка восхождения по лестнице академической карьеры). Веэс шутил, что вышел в профессора благодаря китайской культурной революции, а главное - поклонникам «красной книжки».

Еще одно событие 1968 года: разрыв с советскими властями. Во время одного из очередных посещений Москвы, позволявших ему возобновлять контакты с дорогими ему людьми и устанавливать новые дружеские и рабочие связи (незабываемо знакомство с вдовой Булгакова, обворожительной Еленой Сергеевной, с которой он впоследствии встречался во Франции), Веэс охотно согласился отвезти в Италию письмо Солженицына. В нем писатель в последней попытке не обострять своих отношений с властью заявлял, что роман «Раковый корпус» опубликован на Западе без его разрешения. Письмо было адресовано газете *L'Unita* . Объяснения тому, что произошло Веэс не находит: то ли в гостиничном номере имелся микрофон, который уловил его слова, когда он намекнул приятелю о Солженицыне, хотя разговор шел вполголоса, то ли приятель выболтал тайну и тем выдал его, - так или иначе при таможенном досмотре в Шереметьеве письмо нашли и забрали. Затем в дело вмешалась милиция, Веэса задержали, и вместе с семьей (женой и двумя малышами) он провел ночь в камере с единственным зарешеченным окном. Веэс помнит, как еще до задержания, очень обеспокоенный конфискацией письма, проходя по центральному залу аэропорта, увидел идущего навстречу одного известного своей правоверностью и ретроградством поэта, который не поздоровался с ним, как по обыкновению, а ядовито улыбнулся - верный знак того, что он в курсе происходящего. Но власти решили не раздувать скандала, и днем позже Веэс вместе с семьей был на свободе, но без билетов на самолет и почти без денег. Излишне рассказывать, к каким ухищрениям ему пришлось прибегнуть, чтобы все уладить и через несколько дней вернуться домой.

Этот инцидент наконец дал советским начальникам повод объявить Веэса персоной нон грата и в течение двадцати лет отказывать ему в визе, хотя ему четырежды удалось проскочить через этот барьер наудачу благодаря помощи друзей и, можно сказать, общественному мнению. Развязка истории с письмом Солженицына тоже была неожиданной: примерно месяц спустя Веэс получил по итальянской почте конверт, в котором содержалась точная копия того письма. Веэс так никогда и не

смог выяснить, что стояло за этим, но, главное, письмо удалось опубликовать в газете *L'Unita* , хотя для его автора это уже не имело значения, и тучи над его головой продолжали сгущаться.

Семидесятые годы были для Веэса относительно спокойными, между тем как он продолжал задумываться о смысле своего пребывания в компартии. С коммунистической печатью Веэс больше не сотрудничал: с газетой *L'Unita* - с тех пор как была заблокирована его статья о Солженицыне; с журналом *Rinascita* , как уже говорилось, после отказа Тольятти печатать статью об Эренбурге. Его культурно-политическая деятельность сводилась в основном к сотрудничеству с газетой *La Repubblica* со дня ее основания, и первоначально эта газета Веэсу нравилась. Но в нем еще окончательно не угасла надежда на обновление компартии, а может быть, это лишь внутренней инерцией и личной привязанностью к немногим друзьям-товарищам, которые хотя бы в частном общении разделяли его критические настроения. Позиция «еврокоммунизма» ему тоже казались поверхностными и чисто тактическими: его анализ «коммунистического вопроса», опиравшийся на исторические искания, был глубже и принципиальнее.

Работа в университете, несмотря на потрясавший в то время всю систему образования студенческий протест, как нельзя лучше подходила Веэсу. Благодаря своему пусть и скромному престижу, завоеванному вне университетских стен, он мог контролировать ситуацию и успешно делать свою работу как в плане дидактики (отвергнув такие безобразия того времени, как «групповой экзамен» или «политический» балл), так и в научном плане, о чем свидетельствуют его публикации.

Прежде чем перейти к новому периоду жизни Веэса, стоит остановиться на некоторых особенно памятных ему эпизодах.

Первый из них относится еще к шестидесятым годам, точнее к 1966 году, когда невозможно было и представить, в какую историю он выльется. Ее герой - Всеволод Кочетов, имя которого сегодня мало что говорит не только итальянцам, но и русским. А между тем в то время Кочетов являлся центральной фигурой в советской литературе, главным редактором журнала «Октябрь» - печатного органа ностальгирующих «сталинистов», противопоставлявшего себя возглавляемому Александром Твардовским «Новому миру», журналу прогрессистов, насколько можно было быть прогрессистами в СССР того времени. С «Новым миром» Веэса связывали не только интеллектуальные симпатии, но и дружба с некоторыми членами редакции и доверительные отношения с его главным редактором. Особенно ему запомнилась долгая и удивительно откровенная беседа (в которой участвовала

и Клара) с Твардовским во Флоренции во время итало-советской встречи, организованной Европейским сообществом писателей, с которым Веэс время от времени сотрудничал.

Автор соцреалистических романов, Кочетов, верный солдат партии, ненавидел без разбору всех «ревизионистов»: и своих, и иностранных, а последних, пожалуй, и больше, потому что они могли свободнее высказывать свое мнение, не боясь «оргвыводов». Много шуму наделал его роман «Секретарь обкома», образец советской коммунистической идеологии и объект насмешек над его топорностью и назидательностью со стороны наделенных вкусом литераторов. Веэс тоже выступил с критикой этого романа, не скрывая своей антипатии, правда, выраженной в ироническом и шутливом тоне. Все это, разумеется, Кочетову не понравилось, но, тем не менее, он пожелал встретиться с этим молодым итальянским коммунистом. Их встреча состоялась в Союзе писателей и прошла вполне корректно. Надо сказать, что Кочетов от своих коллег по категории, бюрократически надменных и чванливых, отличался: он скорее напоминал борца за советскую коммунистическую идею и считал себя таковым, и что-то в нем было от чекиста.

Летом 1966 года Веэс оставался один в Турине, его семья проводила лето в Вариготти[36] , снимая там квартиру, и он туда ездил на выходные. Однажды ему позвонила знакомая из Союза писателей** (человек приятный, но сотрудник «органов») и сообщила, что они с Кочетовым в Турине и были бы очень рады снова встретиться с Веэсом. Встреча прошла в их гостинице в атмосфере настолько любезной, что в конце Веэс, сказав, что едет на море к своим, из учтивости спросил, не хотят ли они поехать туда с ним на его «Фольксвагене». К большому его удивлению, они сразу же приглашение приняли. Историю тех трех дней, что Кочетов провел в Вариготти в гостях у Веэса можно было бы рассказать во всех подробностях[37] , и выглядела бы она уморительно-экстравагантной. Но Веэс приведет только несколько деталей: как он принес писателю одеяло в его комнату, когда тому ночью стало холодно, как они с Кочетовым ездили в Альбенгу на слет партизан, на котором выступали Сандро Пертини и Пьетро Секкья[38] .

Кульминационной точки общение с Кочетовым достигло в гостиной Веэса, когда они, услав дам на прогулку, остались один на один и за неизменной бутылкой водки на столе дали выход всем разногласиям, которые уже наметились в предыдущих разговорах. Веэс самокритично вспоминает, что как раз в тот момент он метался между остаточными иллюзиями относительно возможности демократического коммунизма и, следовательно,

демократизации коммунизма и своего рода тактической игрой, которая позволяла ему, формально принимая официальную политику постхрущевского периода («антисталинизм»), фактически выходить за ее рамки, пользуясь категорией «тоталитаризма» применительно к сталинизму, который Веэс понимал в значении более широком, чем официальное, вплоть до наложения ее на весь советский опыт, сопоставляя его с фашистским, с соответствующими аналогиями и различиями. Следует добавить, что «тоталитарную парадигму» Веэс скоро взял на вооружение как очень важный эвристический инструмент, требующий однако усовершенствования по сравнению с его идеологическим использованием, что он и делал в своих последующих публикациях. В этом смысле Веэс был созвучен советскому диссидентству, отправной точкой которого явились хрущевские разоблачения: воспользовавшись ими как прикрытием, оно пошло дальше, ставя под вопрос самые основы коммунизма. Кочетов со своей точки зрения имел все основания отрицать свободу критики, сознавая, что она несовместима с системой, которой он служит, и обвинял ее в том, что она разлагает цельность советской идеологии, особенно среди молодых поколений. Отсюда его антиантисталинизм, присущий не только лично ему, но и всему постхрущевскому аппарату власти, прекрасно отдававшему себе отчет, какие последствия невольно, но закономерно начинало порождать разоблачение «культа личности» Сталина. Все это составляло невысказанный подтекст все более обострявшегося конфликта Веэса с Кочетовым, так что тот в конце воскликнул: «Почему же ваш Тольятти ничего такого не говорил, когда бывал в Москве, а во всем соглашался с нами?». В этом Кочетов был прав, и Веэсу ничего не оставалось, как уклончиво ответить: «Я говорю за себя», и таким образом обнаружить, что не аргументация у него слаба - слаба позиция. Поединок закончился: Кочетов вышел из него еще большим сталинистом, чем был раньше, уверенный в том, что перед ним враг, а Веэс - еще большим «антисталинистом», отдающим себе отчет в необычности своей линии поведения, но и уверенным, что его тактика оказалась верной и эффективной, если такой персонаж, как Кочетов, приехал, чтобы дискутировать с ним (и другие советские без устали нападали на Веэса).

На следующий день антагонисты холодно и вежливо расстались, и, казалось, история этим закончилась. Что это было не так, подтвердила в 1969 году публикация в Москве романа Кочетова «Чего же ты хочешь?» - вопрос, обращенный к Веэсу (и ему подобным). Веэс под именем Бенито Спады - протагонист романа - «отрицательный герой», ревизионист, антисоветчик,

лжекоммунист и, естественно, в канонах соцреализма, изменник в услужении у американского империализма. Жена Веэса Клара тоже представлена в романе под именем Леры, «положительная героиня», осознавшая в конце, какую грубую ошибку или грех совершила, выйдя замуж за подлого ревизиониста и покинув лучезарную советскую родину.

Этот роман вызвал международный скандал, но в Италии шуму он наделал, конечно, больше. А в Советском Союзе этот пасквиль вызвал реакцию, обратную той, которую ожидал Кочетов: не негодованье, а смех писателей, утративших всякую почтительность, если они когда-либо в прошлом и испытывали это чувство к идеологическим динозаврам вроде Кочетова, и пустивших в ход пародии на этого столпа неосталинизма. Кочетов был уверен, что сослужил достойную похвалы службу, встав на защиту политики партии, но в верхах не оценили такой услуги, ввиду того, что роман повсеместно вызвал скандал, и постарались дело замять, предав роман забвению. Кочетов вел себя малодостойным образом: сначала он отрицал знакомство с Веэсом, потом, когда был уличен во лжи, заявил, что Веэс и антисоветские ревизионисты публикуют в Италии только литературу «оттепели» и что такой роман, как «Чего же ты хочешь?» никогда не дойдет до здорового итальянского читателя. Но в 1973 году роман Кочетова вышел в итальянском издании с едким предисловием Веэса, который озаботился переслать один экземпляр этого издания автору.

В конце 80-х годов, когда Веэс снова стал въездным, во время своего пребывания в Новгороде, прогуливаясь вечером по окраине города, он оказался на довольно унылой площади, в центре которой возвышался памятник. Подойдя к нему, Веэс увидел, что это памятник уроженцу Новгорода Всеволоду Кочетову. Установлен он был еще во времена соцреализма, и вполне заслуженно, потому что Кочетов его классик. Веэс не удержался от удовольствия сфотографироваться на фоне этого монумента. Фотографировала, конечно, Клара-Лера.

Начиная с 1968 года советское консульство отказывало Веэсу в визе в Советский Союз, ничем этого не мотивируя, произвольно нарушая все цивилизованные нормы. Но в 1977 году произошло необыкновенное. В том году в Москве проходила первая Международная книжная ярмарка, которой в СССР придавали большое значение в надежде расширить позиции советской культуры в мире. Пригласили на ярмарку и издательство Эйнауди. Джулио Эйнауди приглашение принял, и в ту небольшую группу, которая должна была сопровождать его в Москву, входил, разумеется, и Веэс: но визы получили все, кроме

него. Визу для нечестивца запросили отдельно, и снова из советского посольства ответили отказом. Как говорилось выше, у Веэса подобное уже однажды случилось, когда группа итальянских интеллектуалов-коммунистов спокойно отправилась в СССР без Веэса, которому отказали в визе. С Джулио Эйнауди все вышло по-другому: он заявил, что если Веэсу не дадут визу, то издательство от участия в Книжной ярмарке откажется и сам он тоже не приедет в Москву. Скандал получился поистине грандиозный: не только итальянская, но и иностранная пресса писала об этом «инциденте», был даже сделан парламентский запрос. Советские были вне себя, их посольство не знало, что делать, и в конце концов им пришлось пойти на попятную, в том числе и по совету представителей итальянской компартии, которые вовсе не возмутились произволом по отношению к Веэсу, но испытывали замешательство от беспрецедентности ситуации. Поездка была триумфальной: друзья радовались позору «врагов», то есть кремлевских бюрократов, потерявших всякое чувство меры и поставивших себя в смешное положение. Для Веэса короткое пребывание в Москве после почти десятилетнего отсутствия было наполнено разными эпизодами, в том числе и курьезными. Так, на ярмарке один человек подверг Веэса самому настоящему допросу по поводу «Истории марксизма», как одного из ее редакторов. Эта «История марксизма» была чем угодно, только не «антикоммунистической» (присутствие в составе редакции Эрика Хобсбаума[39] являлось верной тому гарантией), но в ней наметились определенные критические подходы, которые никак не могли вызвать энтузиазма кремлевских идеологов. Эта «История марксизма» была переведена на русский язык, издана малым тиражом и предназначалась для внутриаппаратного пользования, как по тогдашнему обыкновению поступали в отношении «неразрешенных» иностранных книг, которых все-таки нельзя было полностью игнорировать. Главы, написанные Веэсом подвергали пристрастной критике, и впоследствии, когда в 1978 году он написал для последнего тома статью «Марксизм и постмарксизм», она вызвала резко отрицательную реакцию того же Хобсбаума, с которым по этому поводу Веэс вступил в публичную полемику. В то время как Джулио Эйнауди в дружеских тонах выразил свое удивление Веэсу: как могло случиться, что один из авторов и редакторов «Истории марксизма» пришел к таким критическим взглядам на сам марксизм? На этот вопрос Веэс только и ответил, что ему самому критика марксизма в его статье кажется довольно умеренной. Но и сегодня он считает, что эта давняя его статья сохраняет значение и что более тридцати лет назад он опередил свое время.

Недавно эта глава была переиздана.

В этот приезд Веэс восстановил отношения со старыми друзьями и знакомыми, многие из которых стали диссидентами или ненавистными режиму. Но на обратном пути на таможне Веэса не досматривали. Очевидно, опасались нового скандала. Похожая ситуация повторилась два года спустя, на второй Международной книжной ярмарке: новый отказ в визе, новый скандал в прессе, но короткий и более приглушенный - наученные прежним опытом советские власти гораздо быстрее сдали позиции. Но с этой поездкой связано событие, формально поставившее точку на целом периоде жизни. Когда итальянская пресса писала о новом советском произволе по отношению к Веэсу (его часто интервьюировали по этому поводу), он получил странный звонок: звонил ему представитель крыла компартии, позже получившее название «улучшенцев»[40] , учившийся с Веэсом в Москве во времена его аспирантуры. Он по всей очевидности говорил от имени ИКП, а также советской стороны, рекомендуя Веэсу вести себя благоразумно: визу он получит, если в Москве у него не будет «недозволенных» встреч с диссидентами. Предложение, идущее от такого человека, настолько поразило Веэса, что его первая реакция была: это невозможно, как он может не встречаться с друзьями - свободными людьми? Ответ был мгновенным и без экивоков: об этом «они» сами подумают. Самому Веэсу трудно объяснить, что происходило в этот момент у него в голове: тон и суть звонка Икса (назовем так его телефонного собеседника) совершенно сбили его с толку. Он понимал только, что это глупый и недостойный шантаж, и понимал, что вправе обмануть шантажиста. Если ему собираются физически воспрепятствовать встречам с определенными людьми, то с этим ему уже ничего не поделать. Но в тот же самый момент Веэс понял (что давно уже должен был понять), что оставаться в компартии, даже формально и маргинально, как в последние годы, было бы абсурдно и аморально. Таким образом, Веэс обрел и формальную свободу, хотя и до этого он всегда вел себя свободно, но кончилось тяжкое бремя двусмысленности.

Поездка в Москву была более безрадостной, чем предыдущая, тем более что эйфория первой «победы» (1977-го) уже не могла повториться, а главное, Москва показалась ему серой и унылой, а встречи с друзьями-диссидентами, которые, разумеется, состоялись (а некоторые прямо на публике, на территории ярмарки) не радовали его: на всех лежала убийственная печать застоя. На таможне все прошло гладко, без какого-либо контроля материалов, которые Веэс вез в багаже.

Но советская бдительность не притупилась, и в 1986 году,

когда ситуация немного изменилась в связи с так называемой перестройкой, Веэсу снова отказали в визе, поскольку он не поддался шантажу, продемонстрировав тем самым свою «ненадежность». Веэс должен был поехать в Москву как член делегации итальянских историков на встречу-симпозиум с советскими коллегами в Академии наук СССР. Сценарий тот же: визы получили все, кроме Веэса. На этот раз орешком не по зубам (уже шатающимся) оказался для советских глава итальянской делегации Франко Вентури. Какие дураки из советского посольства могли помыслить, что такой человек как Вентури уступит самодурству? Противоборство длилось почти год, потом советские снова сдались, и делегация отправилась в Москву в полном составе. На симпозиуме Веэс прочитал «еретический» с советской точки зрения доклад о Максиме Горьком, но для него самым интересным в Москве была атмосфера ожидания перемен. (Один молодой партийный функционер из нового, перестроечного призыва сказал ему почти в виде комплимента и с выражением надежды: «и у нас скоро тоже будет много своих Веэсов», в смысле раскрепощающего ревизионизма, который впоследствии опрокинул режим). Но убожество окружающего было более гнетущим, чем в предыдущий приезд - чувствовалось, что страна погрузилась в коматозное состояние. Единственной и отрадной нотой в этой мертвенной панораме стал прием в Итальянском посольстве, организованный Серджо Романо[41] по случаю встречи историков.

Среди множества событий, важных для Веэса в личном и общественном плане, можно назвать, второстепенное для него, - посвященную диссидентству Венецианскую Биеннале, на которую он был официально приглашен одним из организаторов. И хотя Веэс понимал значение этой инициативы, он не принял приглашения, потому что получил его, когда все уже было организовано, причем так, что это не могло было быть ему интересно. Веэс, сам своего рода диссидент (позже, по приглашению Владимира Максимова, он вошел в редакцию журнала «Континент»), «преследуемый» советскими, и в этом случае хотел сохранить собственную независимую позицию, не примазываясь к чужим инициативам, как занятые в этом деле некоторые аппаратчики из социалистической партии. Один из друзей-диссидентов сказал, что на Биеннале «отсутствовали двое великих» -Солженицын и Веэс, что было только наполовину правдой, потому что великим можно назвать только Солженицына.

В подтверждение сказанного Веэс хранит номер газеты *La Repubblica* за 12 июня 1992 года, где в статье ее московского

корреспондента Энрико Франческини об архивных материалах КПСС можно прочитать текст письма, отправленного в декабре 1979 года тогдашним советским послом в Риме Никитой Рыжовым в Международный отдел ЦК КПСС. В письме говорится о деятельности Веэса, которую советский посол обличает как «наносящую вред КПСС и Советскому государству»: «на страницах газет Страда систематически очерняет теорию и практику марксистско-ленинского учения и идеи социализма, отравляя существующие отношения между КПСС и ИКП, а также советские и итальянские межгосударственные отношения». Дипломат обвиняет Веэса в том, что он «возводит клевету» на Ленина, разглагольствуя об «удушливой атмосфере культа Ленина», утверждает, что в советской культуре «царят тоталитаризм и вездесущая цензура», отрицает «социалистический и демократический характер нашего общества» и, наконец, защищает литературу диссидентства.

Перечислив все преступления Веэса, этот новоявленный Вышинский переходит к провозглашению приговора: «Принимая во внимание систематические антисоветские высказывания Страды, а также его склонность использовать свои поездки в СССР для сбора тенденциозной информации и разжигания антисоветских кампаний в Италии, мы сочли бы целесообразным запретить Страде въезд в Советский Союз. В случае попыток с его стороны вовлечь в это дело кого-нибудь из руководства ИКП дать нашим друзьям подробное и аргументированное разъяснение относительно принятых мер, подчеркнув, что деятельность подобного рода людей отравляет отношения между нашими партиями и нашими странами».

И в конце приписка: «такая мера в отношении Страды вызовет новую волну антисоветской кампании, а также угрозы некоторых издателей отказаться от участия в московской книжной ярмарке. Однако мы считает, что все это принесет меньше вреда, чем постоянная антисоветская деятельность Страды».

Такова была обычная проза коммунистической, советской и не советский, идеологии, иными словами - тоталитарного режима уже на пороге его крушения, но все еще наглого, что придает всему комическую окраску.

Веэс никогда не считал себя «антифашистом» в характерном для Италии догматически-идеологическом понимании этого термина, считает фашизм злом (не «абсолютным», а относительным и историческим), с которым необходимо последовательно и непримиримо бороться в его конкретных проявлениях, не превращая его в некую метафизическую сущность - бесчестное и ловкое ухищрение в целях преследования

«других» и «противников», с типично фашистской ментальностью объявляя последних «фашистами» в мистифицированном «метафизическом» смысле. Веэсу было неприятно видеть, как нечто подобное повторилось, хотя и несколько смягченно и с меньшим эффектом, со свежеиспеченным «антикоммунизмом», как будто стоит только его перенять, как сразу можешь приписать себе его заслуги и обретешь моральное и интеллектуальное превосходство. Веэс, верный католическому принципу «одно дело ошибка, другое - ошибающийся» и «ненавидеть ошибки» - не значит ненавидеть «ошибающихся» Алессандро Мандзони[42] , считает, что отдельный фашист и отдельный коммунист могут быть лучше антифашиста и антикоммуниста и что антифашизм и антикоммунизм сами по себе больше не оправданны после исторически бесславного конца фашизма и коммунизма, несмотря на все их маргинальные пережитки. Антифашизм и антикоммунизм могут обрести смысл, если преодолеют себя и сольются с радикальным антитоталитаризмом (и антифундаментализмом), не идеализируя и не обожествляя при этом либеральной демократии, которая всего лишь наименьшее зло из всех известных форм правления и ее недостатки иногда очень хорошо выявляют ее крайне правые или крайне левые критики, предлагающие альтернативные решения гораздо худшие, чем разоблачаемые ими недуги.

Веэс не только принимал участие в диссидентском движении, но и написал для Энциклопедии Эйнауди по просьбе ее инициатора Руджиеро Романо[43] специальную статью о «консенсусе-диссенсусе». С особой признательностью Веэс вспоминает о двух премиях, которые по символической значимости отличаются от других присужденных ему премий. Полученные в 1986 году Премия Андрея Сахарова и Премия Прецциолини[44] . (Последняя ему особенно дорога, тем более что была присуждена по предложению Аугусто Дель Ноче[45] , личная встреча с которым, благодаря стихийному совпадению результатов историко-культурных штудий Веэса и философской мысли Дель Ноче, доставила Веэсу истинное удовольствие)[46] .

Сахаров, с которым Веэс познакомился на съезде социалистов в Милане, стал для него еще одним принципиальным этико-политическим ориентиром, наравне с Солженицыным. С последним, как известно, у Сахарова состоялась дискуссия, не лишенная полемического накала, что было вызвано разницей их культурного багажа и расхождениями в политических программах. (Это доказательство того, насколько свободным без всякого сектантства было участие Веэса в русском диссидентском движении, чем он обязан критическим выпадам и

недоброжелательностью Андрея Синявского, не прощавшего Веэсу привязанности к Солженицыну, которого, как известно, Синявский ненавидел безмерно, нелепо подозревая Веэса в потворстве русскому национализму!). Что касается Прецколини, человека совершенно иной исторической ситуации и совершенно иной культуры, он был олицетворением духовной свободы, и с этой точки зрения, как и диссидент Сахаров, был для Веэса духовным ориентиром.

Рассказанное здесь Веэсом должно подчеркнуть, насколько его подход к диссидентству отличался от отношения к этому явлению текущей итальянской политики с ее вполне понятными тактическими играми между конкурирующими или враждующими партиями. Все это было чуждо Веэсу, сосредоточенному на своих исследованиях и на политическом, но главным образом этико-интеллектуальном (и религиозном) анализе. В 1979 году он прекратил сотрудничество с газетой *La Repubblica* , позиции которой, включая ее отношение к китайской «культурной революции», становились для него все более и более неприемлемыми, и начал публиковаться в газете *Corriere della Sera* .

В этот период, спустя два года, он вышел из компартии и сделал это спокойно, без травм и шума и, помнится, даже хотел написать «похвалу бывшим (как он) коммунистам»[47] , направленную против тенденциозных и глупых стереотипов, согласно которым «бывших» превращали в «перебежчиков» или, пользуясь избитым журналистским образом, в «расстриженных попов», вместо того, чтобы видеть в них людей, сумевших на основе своего опыта критически переосмыслить и пересмотреть свое прошлое и ту реальность, частью которой они сами были. Разумеется, каждый «бывший» - случай индивидуальный и оценки требует в качестве такового. Поэтому бывший коммунист в принципе глубоко и положительно отличается от посткоммуниста, который вынужденно приноровился к постигшей его политическое движение катастрофе и в большинстве случаев даже не делал и попытки свободно и по-настоящему критически пересмотреть личное и коллективное прошлое.

«Либералкоммунизм» или «еврокоммунизм» с его «отрывом» от советского поводка казался Веэсу все более жалким, путаным и претенциозным, к тому же его окружала лесть «дружественной» прессы и конформизм поддерживающих его интеллектуалов, а также «советологов» и «русистов», боявшихся взять на себя ответственность серьезной критики, а то и неспособных к таковой.

В 1985 году Веэс, уже формально независимый и с симпатией следивший за политическими и культурными попытками Итальянской социалистической партии (в особенности журнала *MondOperaio*) сдвинуть итальянскую компартию с позиций, мягко говоря, доисторических, неожиданно получил звонок от Беттино Кракси[48] , с которым не был лично знаком. Кракси, высказав много лестного об интеллектуальной работе Веэса, приглашал его вступить в социалистическую партию. Веэс ответил, что при всем личном уважении к нему и к социалистической партии, он решил никогда больше не вступать ни в какие политические организации и, как бы ни был благодарен за приглашение, никак не может его принять. (Позднее Веэс примет предложение участвовать в качестве независимого члена в Национальной социалистической ассамблее, состоявшей в основном из интеллектуалов, и пару раз побывать на ее заседаниях). О Кракси, как фигуре политической, Веэс вспоминает положительно, с учетом преследований, которым он подвергся впоследствии, что явилось пятном на итальянской демократии, особенно на ее левом коммунистическом и посткоммунистическом крыле.

Завершая тему «московских путешествий» в советский период, Веэс вспоминает поездку 1989, когда его официально пригласил Союз писателей. Такого он никогда не смог бы и вообразить. Если вспомнить, что всего тремя годами раньше ему отказали в визе, которую не давали с 1968 года, это приглашение явилось признаком изменений, наступивших в «Стране советов» накануне ее краха. Парадокс состоял в том, что в тот момент во главе Союза писателей стоял Владимир Карпов, бывший военный, который совсем бы не оскорбился, даже наоборот, назови его кто-нибудь сталинистом (его последняя книга «Генералиссимус», посвященная Сталину, вызвала некоторый скандал), но Веэс, как «светский человек», в определенных обстоятельствах умеющий подняться выше кое-каких расхождений, благодарен Карпову за его гостеприимство (в его честь даже устроили обед в Каминном зале дома литераторов!), а также за возможность после стольких лет поездить по Советскому Союзу.

Как говорится, «тут и сказке конец». Скоро конец наступил и Советскому Союзу. Для Веэс это стало причиной и радости, и боли. Радости за освобождение от режима и идеологии - порочных с самого начала, от самых основ и принесших неисчислимые бедствия, и боли - за то, как это произошло и за последствия, жертвами которых оказались многие из тех, кто пострадал от прежнего режима. Здесь открывается широчайшее поле для анализа, которого Веэс, ограничиваясь личными воспоминаниями, даже не коснется.

В заключение «общественной», но, как всегда и личной части его «автопортрета», надо сказать о четырех годах, с 1992 по 1996, которые он провел в Москве в качестве директора Итальянского института культуры. Своим назначением на такой важный пост он обязан тогдашнему министру иностранных дел Италии Джанни де Микелису, а затем его преемнику Нино Андреатте[49] , продлившему его назначение. Вернуться в новую Россию, жить в ней, ездить туда, где он никогда не бывал, явилось для Веэса исключительным опытом, между прочим, позволившим ему убедиться, что вся его деятельность, вся проделанная за десятилетия работа не была бесполезной, и не потому, чтобы он самонадеянно думал, что содействовал, разве что минимально, происшедшим переменам, а потому, что эта деятельность обеспечила ему уникальную для иностранца «популярность» не только в среде интеллигенции, где у него было много друзей, но и в широком кругу политиков. Помимо исполнения официальных обязанностей директора Итальянского института культуры ему приходилось делать не совсем ординарную работу из-за скудости средств и ограниченности штата. В последние два года директорства Веэса весь Институт состоял из него самого и его секретаря Тани, отличной сотрудницы. Веэс без похвальбы и с иронией говорил: «L'instirut c'est moi». Многое основывалось на его участии в российских культурных инициативах (конференции, публикации). Но и с учетом всех объективных ограничений Веэс знает, что не оставил о себе дурной памяти.

Из всех поездок по России, совершенных им во время его второго здесь пребывания, самое яркое воспоминание оставило у него «открытие Сибири»: Бурятии, Якутии и бассейна Енисея. Впечатлений хватило бы на целую книгу. Больше всего ему запомнилось что-то вроде языческого крещения в Байкале с его когда-то сказочно прозрачной водой, а теперь уже не такой чистой из-за некоторых расположенных на его берегах производств (в тех краях, между прочим, находится малая родина Клары, родившейся и выросшей на далеком золотом прииске, где ее отец работал главным механиком). Новые друзья буряты однажды пригласили Веэса в «русскую баню», очень далекую по комфорту от сауны, в которой Веэс побывал в Хельсинки. Это был сарай в тайге на берегу Байкала: на раскаленные камни посередине лили не только воду, но и пиво, вызывавшее пьянящий пар. Выходя из бани, надо было нырять в ледяную осеннюю байкальскую воду. Здравый смысл должен был подсказать Веэсу, что лучше было отказаться, но искушение было велико, и он нагишом, как и его сибирские друзья-крепыши, прошел через испытание, трижды погрузившись в студеные волны

моря-озера после стольких же поджариваний в раскаленном пару русской бани, -и все это перемежалось веселыми воздаяниями Бахусу. Веэс остался в живых и с еще большей радостью принял участие в последовавшем пире, теперь уже наравне с друзьями-«аборигенами». В Якутии даже при пятидесятиградусном морозе он не чувствовал для себя никакого неудобства, и в Якутске приняли его очень сердечно.

Перебирая в памяти прошлое, Веэс отдает себе отчет, что не все там получилось, не только в общественной, но и личной сфере. Например, по недостатку времени он мало бывал со своими детьми, но это частично компенсировалось силой его любви к ним. Их с женой отношения строились на совместной увлеченной работе в соответствии с их общими основополагающими принципами и взаимном перевоспитании. Веэс, вынужденно или случайно ставший университетским профессором, считает, что делал свою работу не хуже тех, кто, не как он, пришел к преподаванию вполне традиционным путем, и ему приятно, что среди его дипломников (Веэс избегает и не любит слова «ученики», поскольку вовсе не считает себя «учителем») немало тех, кто благодаря собственным способностям утвердил себя на преподавательском поприще. Сегодня Веэс считает, что университет, который он без сожаления оставил не так давно, деградировал и обюрократился, в сравнении с университетом, который он знал в свои студенческие годы, а потом в период своего профессорства. И это действительно коллективная вина политиков, профсоюзов и многих тех, кто там учится и работает.

Его преподавательская деятельность в конце несколько омрачила бесчестность его коллег, несправедливо обвинивших его в подтасовке результатов конкурса, который он возглавлял. Все разрешилось наилучшим для Веэса образом: признанием несостоятельности обвинения (что было видно с самого начала), но это удовольствие стоило ему времени и денег и, если угодно, компенсировалось знакомством с новым миром, миром правосудия, который показался ему монструозным из-за невероятной растянутости некоторых процедур и удивительной тупости некоторых судей, хотя в конце концов истина восторжествовала.

Что касается России, больше для него не закрытой, то она для Веэса всегда будет дружественной землей, и «родиной», хотя она не похожа на Россию его надежд: в ней царят несправедливость, насилие, произвол, и она далека от подлинной демократии, в полном угроз мире, с присущей ему нестабильностью. Это делает устаревшими политические понятия «левого» и «правого», а

других, адекватных не найдено: «консервативный реформизм», «социальный либерализм», «светское христианство», «скептический рационализм» -только оксюмороны, посредством которых Веэс пытается выразить собственные позиции. В свете этих критериев он считает фактом безусловно позитивным освобождение России и других стран от коммунистического «старого режима», какой бы ценой за это ни было заплачено, так как повернуло эту часть Европы лицом к действительности, выведя ее за пределы лжи, возведенной в систему, и какой бы тяжкой ни была эта действительность и как бы ни давили три четверти века провальной и преступной тоталитарной власти. Новая Россия внутри огромного мира, который в свою очередь пребывает в состоянии постоянного изменения, открывает Веэсу как историку новые исследовательские горизонты. При этом он с удовольствием констатирует, что работа, проделанная им в последние десятилетия не «устарела» и находится в согласии с новыми тенденциями в россиеведении, которое Веэс никогда не ограничивал национальным измерением, а видел в европейском контексте.

Веэсу претит роль «учителя» и невыносимо видеть слишком многих, кто под этой личиной выступает на публичной сцене, и он на этом заканчивает свой «самокритический автопортрет», отдавая себе отчет в том, что в нем маловато «самокритики», но этот изъян может устранить более суровая «критика» других. Что касается «автопортрета», то в живописи он всегда «субъективен»: из него можно понять, каким видел себя портретист, когда его писал. Другие, со своей стороны, воспримут его иначе, в некотором смысле, лучше. В случае «письменного автопортрета», подобного этому, даже у тех, кому не особенно интересна «физиономия» портретиста, могут вызвать интерес события его жизни, поскольку они связаны с эпохой, хотя бы и увиденной с партикулярной точки зрения.

Каждый проживал ее по-своему. В том, как Веэс прожил свою эпоху, может быть, на манер принца Гомбургского[50] , сомнамбулического героя Генриха фон Клейста, ему не о чем жалеть и нечего стыдиться. Как говорит любимая пословица Бориса Пастернака, «жизнь прожить - не поле перейти». Жизнь - не прямая, уже намеченная дорога. Заблуждение - часть пути, так же как и ошибка -часть истины, если ее взыскуешь, а не претендуешь на то, что она уже у тебя в руках: любой опыт позитивен, если он не разрушителен морально и интеллектуально. К такому заключению приходишь, когда уже близок к последнему краю своего жизненного поля.

Венеция, 2004

Примечания

1

Район Ломбардии недалеко от озера Комо.

2

«Дети волчицы» (Figli della lupa) и «балилла», детские фашистские организации, аналогичные советским октябрятам и пионерам. Первые отсылают к волчице, вскормившей основателей Рима Ромула и Рема, вторые - к Джованни Баггиста Перассо по кличке балилла, который в возрасте 17 лет бросил камень в австрийского офицера, что послужило в 1746 году началом генуэзскому восстанию против австрийского владычества.

3

Популярные итальянские книги для детей: «Сердце» («Cuore») Э. де Амичиса ; «Пиноккио» («Pinocchio») К. Коллоди ; «Дневник Джамбурраски» («Il giomalino di Giamburrasca») Вамбы (псевдоним Л. Бертелли).

4

Городок на озере Гарда, временная столица Итальянской Социальной Республики - фашистского государства, возникшего после падения Муссолини 25 июля 1945, подконтрольного нацистской Германии (сентябрь 1943 - апрель 1945).

5

«Politecnico» - журнал, основанный писателем Элио Витторини в 1945 году. Отличался оригинальностью оформления и свежестью взглядов. Закрыт в 1947 году в связи с расхождениями с культурной политикой итальянской компартии. Сам Витторини тогда вышел из партии.

6

Франко Фортини (псевдоним Франко Латтеса) - известный поэт, литературный критик.

7

Россана Россанда, политический деятель. В 1969 году оставила компартию.

8

Эйнауди, крупнейшее итальянское издательство левого, но не партийного направления. Его основатель Джулио Эйнауди был сыном Президента Италии Луиджи Эйнауди, известного экономиста и политика, либерала.

9

Крупный итальянский историк, специалист по истории Просвещения. Вентури, после войны работавший атташе по культуре в Итальянском посольстве в Москве, занимался и русской историей и написал фундаментальную книгу о русском народничестве.

10

Антонио Банфи, сенатор от компартии, профессор Миланского университета, его «критический рационализм» соединяет марксизм и феноменологию.

11

Антонио Грамши, один из основателей Итальянской компартии, арестован фашистами в 1926 году, умер в Риме в 1937 году после долгого тюремного заключения. Автор важных работ по истории, политике и культуре.

12

Георг (Дьердь) Лукач, венгерский философ, после 1917 года марксист и коммунист, в 1933 -1944 жил в Советском Союзе.

13

Виктор Кравченко, оставшийся на западе после войны сотрудник советской торговой миссии, автор разоблачительной книги «Я выбрал свободу».

14

Альфредо Полледро, переводчик русских классиков, автор русской грамматики.

15

Валентине Джерратана, коммунист, партийный деятель, занимался вопросами культуры.

16

Антонелло Тромбадори, искусствовед, коммунист, политический деятель.

17

Rinascita - теорико-политический журнал Итальянской компартии.

18

Марио Аликата, член руководства Итальянской компартии.

19

На итальянском политическом жаргоне так определяются некоммунисты, которые по наивности играют на руку политике коммунистов.

20

Персонаж романа А. Мандзони «Обрученные», самодур, изо всех сил противившийся браку героев этого романа Ренцо и Лючии.

21

Джованни Джерманетто, коммунист, антифашист, с 20-х годов эмигрант в Советском Союзе.

22

Пальмиро Тольятти, политический деятель, с 1927 года секретарь Итальянской компартии, умер в Ялте в 1964 году.

23

Джанкарло Пайетта, депутат парламента, член руководства Итальянской компартии.

24

Джулиано Феррара, известный итальянский журналист, бывший член компартии, основатель и главный редактор влиятельной итальянской газеты Il Foglio (Листок); отличается своей массивной фигурой.

25

Паоло Сприано, историк рабочего движения; Джорджо Манганелли, писатель. Рем - горная деревушка в Альпах на границе с Францией, где каждое лето Джулио Эйнауди собирал близких себе интеллектуалов для обсуждения актуальных культурных вопросов.

26

Бокка ди Магра, курортное место на Лигурийском побережье. Конье, курортное место в Альпах.

27

Серджо Сольми, известный итальянский поэт и литературный критик.

28

Сальваторе Квазимодо, известный итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии.

29

Виктор Серж (настоящая фамилия Кибальчич) (1890-1947), французский писатель русского происхождения. В 2о-е годы жил в СССР. Работал в Коминтерне, в 1933-м году арестован и сослан в Оренбург. В 1936-м году под давлением западных деятелей культуры и в особенности Ромена Роллана Сталин выпустил его в Европу. Умер в Мексике, куда эмигрировал в 1940 году после начала войны в Германии. Его «Записки революционера» - историческая автобиография антисталинского характера.

30

См.: Страда Витторио , «Великолепное презренье» в книге: Stanford Slavic Studies, 4:2, Literature, Culture and Society in The Modern Age, Stanford 1992, pp. 241-279.

31

Об истории отношений Витторио Страды с Бахтиным см. его письмо в: Бахтинский сборник III, М. 1997 и Бахтин М.М. Собрание сочинений, т.5, М., 1996, и т.6, М., 2002 (комментарий), и Hirschkop Ken , Mikhail Bakhtin, An Aesthetic Democracy, Oxford 2002. См. также Бахтин , Собрание сочинений, т.3, М. 2012, и «Михаил Михайлович Бахтин» - Москва 2010, под ред. В.Л. Махлина.

32

Юрий Лотман, историк русской литературы и культуры, основатель и теоретик Тартуской школы семиотики. Его работы были очень популярны в Италии.

33

В этой связи см.: выступление Витторио Страды в книге «Путь Солженицына в контексте Большого времени», Москва 2009.

34

Цитатник (в красной обложке) изречений Мао Цзе-дуна, популярный среди левацких «бунтовщиков» 68-го года.

35

Норберто Боббио, известный итальянский философ и политолог, социалист.

36

Вариготти, морское курортное место в Лигурии.

37

См. об этом статьи Скуратовского Вадима и Страда Клары в книге «Vittorio», Три квадрата, Москва 2005.

38

Сандро Пертини и Пьетро Секкья, известные политические деятели, первый - социалист (впоследствии Президент Итальянской республики), второй - коммунист.

39

Эрик Хобсбаум, известный английский историк, марксист.

40

Так называли реформистское крыло Итальянской компартии.

41

Серджо Романо, дипломат, историк, в те годы посол Италии в Москве.

42

Алессандро Мандзони (1785-1873), классик итальянской литературы, автор романа «Обрученные». Ему принадлежит и трактат «Osservazioni sulla morale cattolica» («Заметки о католической морали»), откуда взяты цитируемые слова.

Руджиеро Романо, известный историк.

44

Джузеппе Преццолини, известный итальянский писатель, один из самых независимых интеллектуалов XX века.

45

Аугусто Дель Ноче, крупный итальянский философ, католик, автор важных работ о марксизме.

Не менее дорога Веэсу и премия имени Д.С. Лихачева, которую он получил в Петербурге в Пушкинском доме в 2оо8 году. С особенной теплотой Веэс вспоминает многочисленные встречи с Дмитрием Сергеевичем в Италии, Москве, Петербурге и у него на даче в Комарове.

После участия в коммунистическом движении многие деятели порвали с ним: Иньяцио Силоне, Артур Кестлер, Лешек Колаковский и Франсуа Фюре, с которым Веэс, между прочим, имел удовольствие сотрудничать в большом труде, посвященном восприятию Великой французской революции в мире.

48

Беттино Кракси, политический и государственный деятель. С 1976 года секретарь Итальянской социалистической партии, которой он придал новое направление, независимое от коммунистов, вызвав их остро полемическую реакцию. Умер в 2000-м году в изгнании.

49

Джанни де Микелис и Нино Андреатта, известные политические деятели, первый - социалист, второй - христианский демократ; оба были итальянскими Министрами иностранных дел.

50

Герой драмы Генриха фон Клейста «Принц Фридрих Гомбургский».

*

Вероятно, Георгий Брейтбурд, возглавлявший итальянское отделение иностранной комиссии при Союзе писателей.

**

Ирина Огородникова, переводчица с румынского, сотрудница Иностранной комиссии Союза писателей.